

ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЮНОСТЬ



*Сердечный привет
читателям «Юности»,
юношам и девушкам,
которым предстоит
преобразовать землю
и осваивать Вселенную*

Журнал
основан
в
1955
году

С. Леонов

Алексей ЛЕОНОВ,
дважды Герой Советского Союза,
летчик-космонавт СССР,
генерал-майор авиации.

9 [244]
СЕНТЯБРЬ
1975

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ПРАВДА»
МОСКВА

Анатолий
РЫБАКОВ



ВЫСТРЕЛ

I

ПОВЕСТЬ

Возле пивной «Гротеск» прохаживался Альфонс Доде, он же Витька Буров. Бутылки принимали во дворе, и Витьке была видна вся очередь.

Замученный старичок, гномик в очках, опускал бутылки в ящики: темные пивные, светлые водочные, желтые из-под лимонада и сидро. В очереди, которую Шныра загораживал спиной, Фургон, Паштет и Белка перекладывали бутылки из ящиков в свои сумки, собираясь продать их еще раз.

— Тридцать пять копеек,— объявил гномик Шныре,— так тебя учили в школе?

Шныра вынул кепку из кармана, нахлобучил на голову, на глаза, стал за Паштетом и наполнил свою кошелку бутылками из ящиков.

— Получай деньги, отнеси маме, ты хороший мальчик,— заключил гномик торг с Фургоном.

Ребятам все это казалось игрой, рискованной, но увлекательной и дающей заработок. Деньги им были нужны для поездки в Крым.

Сидя на разбитом асфальте, они сдавали выручку Витьке Бурову.

— Восемьдесят две копейки,— сказал Шныра.

— Молодец, хороший мальчик! — к удовольствию всей компании передразнил Витька гномика. — Слушай маму!

— Пятьдесят восемь копеек,— сказал Фургон.

— Плохой мальчик, ленивый, выйди из класса!

— Девяносто три,— сказала Белка.

— Изюм — белый хлеб! — воскликнул Витька. Выше похвалы он не знал.

Они пошли по Смоленскому рынку, могучая компания, объединенная таинственной целью, имеющая

Рисунки
Б. ЖУТОВСКОГО.

Эта повесть завершает трилогию, начатую в 1943 году «Нортином» и продолженную «Бронзовой птицей» (см. «Юность» №№ 11—12 за 1956 год).

бесстрашного вояжа, который бесцеремонно всех расталкивал. «Куда прешь, не видишь — дети!» — фраза, тоже приводившая их в восторг.

Служащие в кособоротках, мануфактуристы в пиджажных парах, в галстуках и без галстуков, с бабочками и без бабочек, зеленцы в брезентовых и рыбкины в кожаных фартуках, цыгане с ассирийскими бородами, крестьяне в смазных сапогах и крестьяне в лаптях, украинки в суконных свитках, китайцы с воздушными шарами и всякими бумажными чудесами, железнодорожники в форменных куртках, барышники, спекулянты, молочницы, холодные сапожники, точилщики, босяки — все это дигалось, шумело, спорило, торговалось, пело, играло, плакало, проклинали, собиралось в толпы, растекалось по Новинскому и Смоленскому бульварам и по примыкающим к рынку переулкам.

Толстый, неповоротливый Фургон задержался около продавщицы с лотком на груди. «Моссель-пром» — было вышито на ее форменной фуражке золотым шнуром.

— Ириски, — доложил Фургон ушедшим вперед ребятам.

— Вывеска на голове, магазин на брюхе! — возмущался Альфонс Доде.

Фургон понял, что ирисок не будет.

Суровое сердце Витки дрогнуло только при виде рослой украинки в монахах, продававшей пряники в ларьке под вывеской «Наталка с Киева».

Она заметила Виткин завороченный взгляд.

— Все вы дивуетесь на меня, а не покупаете.

Витка кинул на прилавок деньги — широкая влюбчивая натура, — раздал всем по прянику, себе не взял, сдачу положил в нагрудный карман.

— Крымские.

— С Крыма приехали! — осведомилась Наталка с Киева.

— Вроде бы, — неопределенно ответил Витка.

По базару медленной уркаганской походкой шел Шаринец, хлюпик в кашне, настороженно косил рыжим глазом.

Витка напрыгивая, готовый к столкновению.

— Белка!

Белка не ответила на оклик Шаринца, вопросительно смотрела на Витку, сильного, смелого, покупающего пряники.

Шаринец прошел, усмекаясь, как человек на рынке слишком значительный, чтобы связываться с такой мелкотой.

Но мелкота знала, что Шаринец боится Витку, и это усиливало в них сознание своего могущества.

2

На своем дворе они тоже были хозяева. Старшие ребята их не трогали, боясь Витку, сверстники хотели попасть в их компанию, но компания никто больше не нужен: они не могут всех взять в Крым. Они сидели в тени восьмизатяжного корпуса. Шныра и Фургон мелом рисовали на асфальте пальмы с высокой кроной, волнистое море, чаек, солнце с длинными лучами — все это должно было изображать Крым. Витка лениво поигрывал финским ножом и курил папиросы «Наша марка» — единственная трата из крымских денег, которую он себе позволял. Папиросу получил и Паштет. Шныре и Фургону дали затянуться. Шныра выказал на-

слаждение, которого не испытывал, Фургон закашлялся, Белке ничего не было дано — девочки не должны курить.

Идиллия была прервана появлением дворничихи с метлой.

— Весь двор разрисовали, безобразники!

Витка подкинул нож, ловко поймал за рукоятку.

— Ох, Витка, доиграешься, не миновать тебе тюрьмы. Тебя не жалко, мамашу твою жалко.

Витка симпатично улыбнулся, отчего финка в его руках стала выглядеть несколько злоеже.

На четвертом этаже открылось окно. Валентин Валентинович Назвроцкий провел ладонью по подоконнику — чисто ли! Он был в светлом шевитовом костюме. К окну подошел Юра — его больше не дразили скауты, но выглядел он вышемерно, чем прежде: долговязый, в бархатной толстовке, с белым бантом.

— Витка Буров, он же Альфонс Доде, гроза Арбата, — объяснял Юра — его банды: Шныра, Паштет, Белка и Фургон. Паштет и Белка — бывшие беспризорные, а сейчас безнадзорные. В чем разница — не знаю.

— Какой действительно толстый мальчик Фургон, — согласился Валентин Валентинович, — перекормлен.

— Это настоящее имя Андрей, фамилия Зимин, отец — инженер на фабрике.

— Сын инженера в такой компании! А почему Альфонс Доде?

— Может быть, он чем-то напоминает Тартарена из Тараскона... Наверяд ли... Почему, например, Паштет? Он паштет в глаза не видел. Все потенциальные уголовники начинают с кличек...

Во дворе появился Шаринец, уселся на скамейке у подъезда, ухмылялся на Виткину компанию.

— А это настоящий уголовник, профессиональный карманник.

— Карманник не самая видная, но вполне достойная воровская специальность...

— Конкурент Витки за влияние во дворе.

Точно в подтверждение Юриного замечания Витка, демонстрируя свою власть, приказал:

— Фургон, скажи стих!

— Какой?

— Про хорошего человека.

Фургон ударил себя в грудь:

Роча брита,
Грудь открыта,
Брюки клеш,
Даешь — берешь!

— Хороший стих, — похвалил Витка. — А еще знаешь?

— Про что?

— Про хорошего человека.

— Про хорошего человека больше не знаю, — признался Фургон.

— Фургон! — окликнул его Шаринец.

— Чего?

— Подойди! — позвал Шаринец с дружелюбием уголовника.

Фургон сделал неуверенное движение в сторону Шаринца, но его остановил грозный Виткин оклик:

— Стой!

Фургон остановился.

— Зачем пошел?

— Так ведь он позвал.

Двумя пальцами Витка зажал Фургону нос.

— Брось, Витка! — неодобрительно заметил Шныра.

Фургон мотал головой, пытаясь вырваться.
— В другой раз оторву и голову,— пообещал Витька и сильно дернул рукой вниз.

Фургон освободился от железной Витькиной хватки, но ощущение было такое, будто у него нос оторвали, и Фургон не сумел сдержать слез.

Витькина власть была доказана действием и огорожена от посягательства Шаринца. Но когда Витька называл Фургона, во дворе появился Миша Поляков, до-прежнему в кожаной куртке, из которой уже порядочно вырос; под ней, на рубашке, виднелся комсомольский значок «КИМ».

— За что ты его?

Витька лениво поднялся, поиграл финкой.

— Твое дело?

Юра дел справку:

— Миша Поляков, комсомольский активист... Как то там у них называется... Секретарь ячейки или председатель учкома — я в этом плохо разбираюсь.

— Сильный, видно, парень,— заметил Валентин Валентинович.

— Витька сильнее.

— Сильнее тот, кто смелее.

— Миша смелый только на собраниях.

Витька играл финкой.

— Ну что? Милицию позовешь? За милицию спрячься! Беги, зови, а то не успеешь. Арцы и в воду концы! — «Арцы и в воду концы» означало у Витьки высшую степень угрозы.

— Убери нож!

— Наверно...

Неожиданным ударом Миша вышиб финку из Витькиной руки и наступил на нее ногой. Витька бросилась на Мишу, они сцепились, не давая один другому дотянуться до ножа.

Нож поднял Саша Панкратов, во дворе его называли Сашка Фасон, не потому, что фасонил, а потому, что был красив: черноволосый мальчик в красном пионерском галстуке. Было ясно, что финку он Бурову не отдаст.

Подожли мужчины, растащили дерущихся. Витька пыталась вырваться, но его держали крепко. Из окон выглядывали жильцы, во дворе собралась толпа. Выбежала мать Фургона — Ольга Дмитриевна Зимина, милойдушная женщина с нежным лицом.

— Андрюша! Что он с тобой сделал? Нож! Когда это прекратится наконец?

Появление милиционера привлекло еще больше зрителей.

Милиционер забрал у Саши финку.

— Чей нож?

Все молчали, подчиняясь законам двора: подражать — одно, выдать — другое.

— Твой? — спросил милиционер у Витьки.

— Пусть ребята скажут, — ответил Витька.

Белка показала на Мишу:

— Его финка, он хотел Витьку порезать.

— Не ври! — крикнул Саша Панкратов. — Витькин нож. Скажи, Фургон, скажи, Шныра, чей нож?

Шныра и Фургон молчали.

— Какие, однако, мерзавцы! — возмутился Валентин Валентинович и встал с подоконника.

— Плеваты! Пусть сами разбираются, — сказал Юра.

— Ну, знаешь... Я тебя не понимаю! — Валентин Валентинович свесился из окна. — Товарищ! Я все видел, сейчас спущусь.

Через минуту он стоял во дворе, спокойный, внушающий доверие, показывая на Витьку.

— Нож его, он им играл, довольно неосторожно, кстати. И мучил мальчишка. А этот молодой человек, — он протянул тонкий палец в сторону Миши, — вступился... — И повернулся к Зиминной: — Если из ошибюсь, за вашего сына.

— Да,— сказала Ольга Дмитриевна. — Вить! Ведь ты уже большой... Разве Андрей тебе товарищ!

— Что скажешь? — спросил милиционер у Витьки.

Витька молчал, злобно поглядывая на Мишу.

— Нехорошо, девочка, лгать, некрасиво, — сказал Валентин Валентинович Белке.

Милиционер опустил нож в сумку.

— Разберемся, пошли!

И вместе с Витькой направился к воротам.

— Благодарю вас, — сказала Ольга Дмитриевна Валентину Валентиновичу.

— Мадам... Гражданка... Я просто сказал правду.

3

Валентин Валентинович вернулся к себе.

— Дорогой мой, — сказал он Юре, — ты оказался не на высоте. Ты побоявшись Альфонса Додэ! Кстати, кличка ему не подходит.

— Я его не боюсь, — вскрикнул Юра, — но Миша ненавидит меня, как буржуя. Если бы я вмешался, он бы расценил это как подлизывание. Не беспокойтесь за него: он не нуждался ни в вашей защите, ни в моей.

— Правду надо защищать всюду, всегда и везде. — Валентин Валентинович уселся в кресло и закурил длинную тонкую лапиросу. — Что касается Альфонса, то он кончит тюрьмой. Окалывается во дворе с финкой, взрослый парень!

— А куда ему идти? В комсомол! Звать на собраниях?

— Ты тоже не комсомолец.

— И что меня ждет? В институт не примут: не рабочий, не сын рабочего.

— Принимают и не рабочих. Твой отец — врач, лопустай в медицинский.

— Ковыряться в чужом солидном носу?

— Что же тебя привлекает?

— Кино.

— Есть способности?

— В кино нужна врожденная внешность.

Валентин Валентинович оценивающим взглядом посмотрел на Юру.

— Внешность у тебя есть.

— Один кинорежиссер, лапин пациент, обещал взять меня на съемки.

— Прекрасно! Будешь советским Рудольфо Валентино или Дугласом Фэрбенксом.

— Он начнет новую картину через год. Что я буду делать после школы? На фабрику?

— Кстати, почему ваша школа так связана с фабрикой?

— Получаем трудовое воспитание, даже лишем дипломные работы, почти как в вузе. Из нас готовят нечто вроде статистиков. Такая скукота!

— Напрасно пренебрегаешь этим, другие после школы идут на биржу труда или в чернорабочие. А ты сразу получаешь специальность.

— Мне нужна специальность, дающая независимость.

— Профессия актера тебе ее даст?

— До известной степени.

— Заблуждаешься. Независимость делается только теми...— Валентин Валентинович пошевелил пальцами, как бы пересчитывая монеты.

— Но где их взять?

Валентин Валентинович погасил папиросу в пепельнице, прошелся по комнате, чистой, пустовой, с фотографиями лошадей на стенах.

— Надо начинать с небольшого. Кто я такой? Уполномоченный общества «Друг детей». Я распространял лотерейные билеты, открытки, значки, поднимался по лестницам, стучался в двери, несознательные граждане захлопывали их перед моим носом. Все же мне удавалось кое-кого убедить. Заметь, какую гуманную роль я выполняю: помогал несчастным, голодным крошкам и пробуждал в людях сострадание. Теперь заготовляю мануфактуру для наших предприятий, прибыль от них идет опять же на помощь детям. Раз в месяц получаю свои проценты. Рокфеллер имеет больше, но я сит, одет, обуш,— он вытнан ногу и показал лакированный ботинок «джимми», делаю свои деньги и думаю, как бы сделать их больше.

— На лотерейных билетах? На отгрузке мануфактуры?

— Друг мой! Деньги делаются на всем. Hа! Папиросы «Ира» не все, что осталось от старого мира. Шевели извилинами, как пишут в журнале «Смехач». Жизнь с ходу дает тебе шанс — не упускай его. Приживись на фабрике. Получится с режиссером — уйдешь в Дугласы Фэрбенксы. Не получится — заработаешь производственный стаж и поступишь в вуз. Кстати, какая у тебя тема?

— Учет на складе,— произнес Юра с отращенным.

— Прекрасная тема! — воскликнул Валентин Валентинович.— На складе ты становишь деловым человеком, изучишь ткани. Актуальнейшая проблема! За десять лет люди пообносились, рынок требует математики...

— Мат? Что это такое?

— Мануфактура — на языке контрабандистов, этим термином пользуются и коммерсанты. Какие названия! Амарант, бельфанд, туал-д-зе, канбера, виола-макмино... Из-за одних названий ты бы пошел работать на склад, честное слово!

— Вы говорите о фабрике с таким же энтузиазмом, как Миша Поляков на школьных собраниях о мировой революции.

— Ну что ж, из всех, кого я видел сегодня, Миша Поляков понравился мне больше всех.

— Вы его мало знаете,— нахмурился Юра.

4

Следующий день был фабричный. С блокнотом и карандашом Миша стоял на фабричном дворе у железнодорожной ветки. Грузчики носили в вагоны тюки с мануфактурой.

Подождал Валентин Валентинович.

— Что вы делаете, Миша! — После вчерашнего происшествия он держался с ним, как с добрым приятелем.

Миша показал на блокнот.

— Записываю, куда отправляется товар.

— Это имеет отношение к вашей дипломной работе?

— Да. «Транспортировка готовой продукции».

— Великолепно! Можете записать мою отправку.— Он показал на пустой вагон в тупике.— Станция назначения — Батум, получатель — швейная фабрика общества «Друг детей».

— Запишу, когда погрузят, очередь дойдет не скоро.

— Ужасно долго все это продолжается,— подхватил Валентин Валентинович,— я вам скажу почему: задерживают ломовые извозчики. Анахронизм. За границей господствуют автомобили.

У ворот склада стояли ломовые лошади с мохнатыми ногами. Возчики складывали тюки на полки, покрывали брезентом, увязывали веревками, затягивали ломками.

В складе было тесно, но рабочие ловко маневрировали тележками, сбрасывая тюки, куда им показывал кладовщик Панфилов. За маленьким столиком Юра выписывал накладные.

Вошел Красавцев, заведующий сбытом, толстая с опухшим лицом, что-то сказал Панфилову и вышел.

— Представитель Деткомиссии, гражданин Навроцкий! — крикнул Панфилов, появившись в воротах склада.

Валентин Валентинович оглянулся.

— Меня кличут... Иду!

Он отправился в склад и тут же вернулся, весело крикнув Мише:

— Сейчас буду грузиться!

Показал грузчикам пустой вагон в тупике:

— А ну, ребята, подвинь, по чешушке на брата!

Сказал что-то машинисту и сцепщику и направился к пустому вагону, на ходу бросив Мише:

— Поможет, Миша!

Мише понравилась его веселая лихость, и он помог грузчикам подтолкнуть вагон к составу.

Лязгнув буфера, сцепщик накиннул сцеп, Валентин Валентинович оттянул дверь вагона, она мягко покатила на роликах, грузчики установили трап, начали таскать тюки.

Стоя в вагоне, Валентин Валентинович уверенно распоряжался:

— Быстро, ребята, шаг назад, два вперед, тюк на тюк, товара как раз на вагон. Плохо уложим — придется переукладывать.

Он соскочил с подножки и пошел в склад.

— Накладная готова?

— Готова,— ответил Юра.

— Молодец!

Прижимая книгу линейкой, Юра оторвал и передал ему накладную.

Валентин Валентинович посмотрел на состав (сцепщик закрывал и опломбирывал вагон), кивнул Юре и Панфилову: «До новых встреч!» — и через боковую дверь вышел на улицу.

Машинист дал гудок, состав тронулся и вытянулся из ворот фабрики. Миша записал вагон Валентина Валентиновича.

Вошел инженер Николай Львович Зимин. Был он гладко выбрит, в хорошо отутюженном костюме, держался очень прямо. За глаза его звали барин — слово в то время уже не оскорбительное, а насмешливое. Оно было незаслуженно и заставляло Николая Львовича держаться еще прямее, говорить еще спокойнее.

— Где бракованная партия? — спросил он.

— Какая, Николай Львович?

— Для Деткомиссии... Я велел Красавцеву ее задержать. Передал он вам мое распоряжение?

— Правильно, приказали... Так ведь транспорт уже погрузили, не разгружать же было, Николай Львович.

— Интересно...

Зимин удалился.

Миша хорошо помнил: Красавцев приходил на склад, что-то сказал Панфилову, и после этого вагон Валентина Валентиновича Навроцкого был молниеносно погружен и отправлен. Что же приказал Красавцев? Задержать вагон, как велел инженер Зимин, или, наоборот, побыстрее отправить его?

— Юра, ты не слыхал, что Красавцев сказал Панфилову?

— Нет.

— Он велел задержать вагон или отправить?

— Не знаю.

— Ты был рядом.

— Я не прислушиваюсь к чужим разговорам.

— Товарищ Панфилов! — сказал Миша. — А ведь Красавцев приходил до того, как был погружен вагон Деткомиссии.

Панфилов склонился на него из-под железных очков.

— Ну и что?

— А вы сказали товарищу Зимину, что вагон уже был погружен.

— Ну, сказал.

— Вы сказали неправду.

По суровому лицу Панфилова, по его косому взгляду можно было предположить, что он пошлет Мишу ко всем чертям. Однако он этого не сделал: хорошо знал этих молодых товарищей, от них никому нет проходу, им до всего дело, и лучше с ними не связываться.

— Товарищу Зимину легко отдавать приказы, только он ведь не у Буткиных работает.

— При чем тут Буткины? — удивился Миша.

— При том... Задержи, посмотри, погляжу... А за простой вагонов полагаются штраф, деньги порядочные, что будет платить? Фабрика! Государство?

— Зимин хотел как хуже!

— Не сказал я этого, только не коммерческий он человек. Хочешь брак выиснять? В цеху выясняй, а не на складе, когда товар упакован, клиент ждет и вагоны поданы.

В объяснениях Панфилова была логика, но упоминание бывших хозяев фабрики Буткиных было намеком на старорежимность Зимина, попыткой опорочить его, представить социально чуждым. Миша почувствовал фальшь.

— А все же что приказал Красавцев: задержать или отправить вагон?

— Об этом у самого Красавцева спроси! — с раздражением ответил Панфилов. — Не Зимин, не Красавцев отвечают за отправку, я отвечаю. А мне товар некуда складировать, сам видишь. — Он обвел рукой зароможенное тюками помещение склада. — Паны, понимаете, дерутся, а у хлопцев чубы трещат. Нет, извините, спасибо!

5

Вечером Миша пошел к Славке. Бульвары Садового кольца были пустыни, редкие фонари тускло светили на углах центральных улиц.

Славкина мать ушла к другому человеку. Славка остался с отцом, бросил школу, играет по вечерам в оркестре ресторана «Зримаж», зарабатывает на жизнь: Константин Алексеевич болеет, не работает, опустился. Миша поражался такой слабости. Если женщина ушла от мужа, порядочного и достойного человека, бросила сына, ее можно только презирать. Конечно, любовь, страсть и так далее, и все же долг выше всего.

В ресторан Миша вошел со двора, мимо кухни, мимо снующих по узкому коридору официантов с под-

носами. Все бежали, торопились, никому не было дела до Миши, и он благополучно достиг маленькой комнаты, отделенной от эстрады тяжелой занавеской.

Рядом гремел оркестр. Миша чуть раздвинул занавеску и увидел ресторанный зал. За столиками, покрытыми белоснежными скатертями, сидели разодетые женщины, мужчины, очень важные, будто занятые настоящим делом. А все их дело тут — пить, есть, хохотать, как будто им очень весело. Спасаются от забот и тревог жизни, изманы, спекулянты и растратчики, берут реванш за свое унижение в том, другом мире, где они лишены ицы, где их ограничивают, допекают налогами. Здесь они господа, реализуют свое богатство, швыряют деньгами, перед ними предупредительно склоняются официанты. Безусловно, изл необходим для восстановления страны, здесь его оборотная сторона, приходится с нею мириться, но люди эти отвратительны. Во имя чего они живут?

Оркестр смолк, музыканты оставались на своих местах. Сидя за роялем, Славка разговаривал с контрабасистом, пожилым человеком в серо-голубом костюме с бабочкой.

Потом на эстраду вышли чечеточники в черных фраках, белых манишках, черных цилиндрах и черных лакированных туфлях. Оркестр грянул браурную мелодию, чечеточники отбивали чечетку, фалды их фраков разевались, они здорово молотили штиблетами и пели куплеты...

Два червонца, три червонца или сразу пять. За червонцы, за червонцы можно все достать...

Глупейшие куплеты о червонцах, о том, что именно можно достать за червонцы, идиотский гимн червонцу. Никто не обращает на чечеточников внимания, хотя они стараются воюю, жаль их, и Славку жаль, и других музыкантов, обязанных развлекать эту шухеру.

Чечеточники удалились. Музыканты поднялись со своих мест, спустились в комнату за эстрадой...

— Мне еще отделение играть, — предупредил Славка.

— Подожду, — ответил Миша.

Он стоял у занавески и поглядывал в зал.

— Ну и физи!

— Эти физи дают пищу для некоторых размышлений, — сказал Славка.

— Каких именно!

— Могли мы с тобой два года назад думать, что появится все это?

— Нет.

— Новые хозяева жизни.

— Скорее и точнее: хозяева своих денег.

— Зато каких денег! Сейчас я тебе покажу некоторых представителей современного капитала. Только не слишком на них пялься и не тычь пальцем.

— Постараюсь, — рассмеялся Миша.

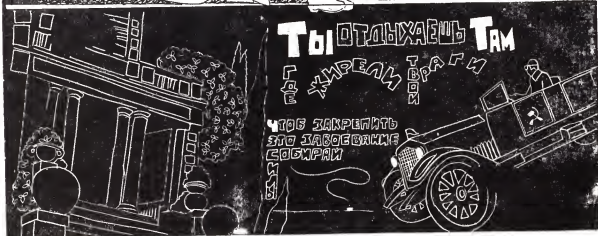
— Справа, за вторым столиком, к нам лицом, видишь, коротенький пузанок с пышной шевелюрой?

— Вижу.

— Этот пузанок с т о и т сорок тысяч.

— Как в Америке: мистер Смит стóит сорок миллионов долларов.

— Вот именно. Пузанок зарабатывает сорок тысяч в год, а он всего лишь представитель Харьковского государственного кондитерского треста. Заметь, государственного! Разве у нас так много кондитерских изделий? Их не покупают? Нет, их покупают, расхваливают и без этого прыщика. Но этот прыщик получает десять процентов за реализацию — это как раз сорок тысяч — и делится с начальством.



Мишу огорчил желчный тон Славки.

— Разве мы с этим не боремся?

— Допустим,— не стал спорить Славка.— Теперь следующий столик, видишь, черноусый джигит? Стоит тридцать тысяч, представитель Азиарыбы, рекламирует селедку, а чего ее рекламировать?.. Знаешь такой город Ачинск?

— В Сибири?

— Точно. Но на всякой карте найдешь. Есть там малосенский магазинчик, торгует лаптями, дегтем, веревками, гвоздями, косами, серпами. Где же эта лавчонка себя рекламирует? Не угадаешь. В парижских газетах. И за рекламу плачено золотом. Вот так!

— Представляю себе ликование парижан,— засмеялся Миша.— Анекдот, наверное?

— Анекдот?! Почитай «Крокодил». Смотри дальше: Иван Поддубный, так он не Иван Поддубный, а фирма «Дешевое платье». Рядом два джентльмена в галифе — «Изящное платье»... А там дальше, в кофеварках и пиджаках, это так называемые кооперативы, артели, конечно, липовые, но вывески... Вывески самые идейные... «Свой труд» семгу изволит кушать, «Коллективный труд» пьет шампанское. Труд, труд, труд... Удобное слово!

— Слушай,— перебил его Миша, взглядываясь в глубь зала,— там, в углу, не Юра с Людой Зимной?

— Они.

— Я знаю человека, с которым они сидят,— Валентин Валентинович Навроцкий.

— Я его тоже знаю, с некоторых пор он живет в нашем доме.

— И они часто здесь бывают?

— Людю я здесь вижу впервые, Юра бывает, Навроцкий наш постоянный гость.

— И сколько он стоит?

— Не знаю, фигура загадочная.

— Он всего лишь агент-заготовитель Деткомиссии.

— Это ничего не значит, у всех здесь скромные титулы: агент, уполномоченный, владелец магазина или ларька, кассиры — как правило, растратчики — гуляют перед посадкой. Тут много чего настоишься. Изнанка общества.

— Не изнанка, а отбросы.

— Можно сказать и так,— опять не стал спорить Славка.

— Пошли! — сказал виолончелист, поднимаясь на страду.

— Подождешь? — спросил Славка.

— Подожду,— ответил Миша.

Заиграл оркестр. Юра и Людя поднялись и смешались с толпой танцующих.

Навроцкий вынул из кармана пиджака конверт, положил на стол, прикрыл карточкой меню, щелкнул затвором портсигара, размял папиросу тонкими пальцами, закурил, бросил спичку в пепельницу, откинулся на спинку кресла, глубоко затулился и даже не повернул головы, когда к столику подсел Красавцев.

Навроцкий придвинул ему портсигар, приподнял карточку меню. Красавцев достал папиросу, вынул из-под меню конверт, опустил в карман.

— Здесь вся сумма?

— Можете не пересчитывать. Когда я получу следующую партию!

На память, красном от водки лице Красавцева появилось обычное для взяточника выражение недоступности.

— Через неделю, не раньше, и без скидки на брак и третий сорт.

— Почему?

— Зимин собирается лично проверить брак и сорт, беспокоится, что его слишком много.

— С ним нельзя поладить?

— Из старых спецов, трусит. Хотел задержать вашу партию, но я успел ее отправить.

— Я успел ее отправить,— хладнокровно возразил Навроцкий.

Красавцев покосился на него.

— Если бы я не предупредил Панфилова...

Навроцкий перебил его:

— Если бы я не успел за полчаса погрузиться, вы бы попались на фиктивном браке и пошли под суд. Красавцев опять покосился на него — пижона следует осадить.

— Зимин требует документы по вашей отправке.

— Пожалуйста, документы в порядке.

— Если в них особенно не ковыряться.

— Документы в полном порядке. Можете спокойно их передать. Пусть изучает. Даже у себя дома. Вот именно, пусть возьмет домой и тщательно ознакомится.

Оркестр смолк.

— Значит, договорились? — Навроцкий давал понять, что Красавцев может удалиться.

Вставая, Красавцев ухмыльнулся:

— Вы здесь с дочкой Зимина, если не ошибаюсь?

— Не ошибаетесь. Можете спокойно передать документы Зимину в личное пользование.

Вернулись Юра и Людя. Людя села,равила платье, осматрелась.

— Ну как! — спросил Валентин Валентинович.

— Прекрасно!

Людя впервые была в ресторане. Когда она шла сюда, волновалась, смущалась, ей казалось, что она прикасается к опасной, запретной, но заманчивой стороне жизни. Папа и мама будут огорчены, узнав, что она была здесь, но она хотела посмотреть, хотела знать, что это такое, узнала, посмотрела и, может быть, больше не придет сюда. Ничего особенного — пьют, едят, танцуют. Пьют и едят очень вкусно, вкуснее, чем дома, и совсем иначе. Она так честно и скажет — хотела посмотреть, посмотрела; папе и маме всегда важно почитать мотивы, она им объяснит мотивы: было интересно посмотреть. Правда, ей приятно, что и на нее смотрят. Дома существовала эта тема: Людя-кокетка, ее за это высмеивали, папа часто говорил: «Людя опять сморщится в самовары». В конце концов у каждого есть и должны быть недостатки. В общем, Людя мысленно договорилась сама с собой, мысленно договорилась с родителями.

— У вас знакомые в оркестре? — спросил Валентин Валентинович.

— Мальчик из нашего дома, Славка Эльдаров. Очень талантливый.

— Не без дарования,— снисходительно согласился Юра.

— Нет, очень талантливый! — возразила Людя.— Но у них дома неприятности, родители разошлись, и он вынужден играть в ресторане.

— Это пойдет ему на пользу,— сказал Валентин Валентинович.

— Да? Почему?

— Трудно объяснить... На ум приходят банальные слова: невзгоды закаляют, характер вырабатывается в горниле испытаний и тому подобное. Но в этих стертых выражениях заложены никогда не стареющие истины.

— Итак, да здравствуют сложности! — провозгласил Юра.— А если их нет?

— Их не может не быть, — ответил Валентин Валентинович коротко, явно не желая продолжать этот разговор.

— Почему вы не танцуете? — спросила Люда.

— Не умею.

— Фокстрот — это очень просто.

— Мне поздно учиться.

— Вам? Вы себя считаете стариком?

Валентин Валентинович улыбнулся:

— Скажите лучше, как вам работаете на фабрике?

— Стою с хронометром, очень стараюсь, тем более, что я дочь инженера, но работницы на меня косятся, я им, по-видимому, не нравлюсь.

— Всюду рабочие не любят хронометражистов, — сказал Валентин Валентинович, — а то, что вы дочь инженера... Разве вашего отца на фабрике не уважают? Ведь он крупный специалист.

— Вот именно: спец. у нас в листе, — подхватил Юра, — буржуазный спец. учился в Англии, служил на фабрике еще до революции, у хозяев-капиталистов и, значит, сам был чуть ли не капиталист. А Люда — дочь буржуазного спеца. У нас обожают наклеивать ярлыки: интеллигент, спец... Я, например, упал с чинки, у меня, видите ли, упало очное настроение. Почему, отчего — никто не знает, и что значит упало очное, тоже никто толком не знает. Представляю, что бы творилось, если бы узнали, что мы сидели в ресторане да еще танцевали фокстрот и чарльстон. Нас бы объявили белогвардейцами.

— Вот видишь, — засмеялся Валентин Валентинович, — а ты говоришь, что у тебя нет сложностей.

6

В калитке, вырезанной в воротах, стоял Витка бурое в своей обычной ленивой позе, загоразживая проход и не проявляя намерения сдвинуться с места.

Юра оказался позади Валентина Валентиновича. Впрочем, у него все всегда получалось естественно, а значит, и достойно.

— Молодой человек, — холодно произнес Валентин Валентинович, — будьте добры посторониться.

— Места вам мало? — Витка продолжал загоразживать калитку широкими плечами.

— Витя, перестань! — поморщилась Люда. Она не боялась Витки.

— Или вы посторонитесь, или я помогу вам это сделать, — сказал Валентин Валентинович.

Витка лениво подвинулся.

— Чешите, не вы мне сейчас нужны.

— Так будет, пожалуй, раз у меня не, — оставил за собой последнее слово Валентин Валентинович.

Во дворе на скамейке виднелась еще одна фигура — Шаринец.

— Мне сюда, спокойной ночи! — Юра вошел в свой подъезд, представив Валентину Валентиновичу возможность проводить Люду до ее дверей, а затем остаться один на один с Виткой и Шаринцем.

Прощаясь с Навроцким у своего подъезда, Люда сказала:

— Витка опять к вам привяжется.

— Переживу как-нибудь, — улыбнулся Валентин Валентинович. — Вы довольны сегодняшним вечером?

— Очень.

— Я рад, что Юра нас познакомил.

— Да, спасибо ему.

— Ваши уже, наверно, спят.

— У меня свои ключи.

Навроцкий скользнул взглядом по ключам, которые она вынула из сумочки.

— Ну что ж, спокойной ночи, гивет вашей матушке.

Люда поднялась по лестнице, осторожно повернула ключ в замке, открыла, потом тихо закрыла дверь, сняла туфли, в одних чулках прошла по темному коридору, вошла в свою комнату...

Послышались шаги, и вслед за ней в комнату вошел Николай Львович.

— Ты не спишь, папочка?

— Ты тоже не спишь.

— Скажешь тебе, где я была?

— Пожалуй.

— В ресторане... Да, да, представь себе... И мне там понравилось: музыка, танцы... Но если ты не хочешь, то больше не пойду, обещаю.

— Ничего страшного в ресторанах нет... Но мне кажется, туда ходят одни спекулянты. И может быть, тебе еще надоело рвановато... Впрочем, если ты захочешь ходить, никто тебя не удержит...

— Нет, папочка, я тебе сказала: если ты не хочешь этого, я больше ни разу не пойду.

— Но ведь ты пошла, захотела и пошла, и нам ничего не сказала... Конечно, потом призналась, так сказать, постфактум, и на том спасибо, не стала ничего выдумывать и придумывать, это очень хорошо... Но ведь мы не знали, где ты.

— Ты не ложился из-за меня? И мама?

— Ты спрашивавше об этом?

— Я думала, что вы... Я понимала, что огорчу вас... Но если бы я знала, что вы не спите из-за меня...

Вошла Ольга Дмитриевна.

— Доченька, господи, как я волновалась, чего я ни передумала! Ну, слава богу, ты дома! Я уже одевалась, чтобы пойти тебя искать!

В халате, розовая, румяная, Ольга Дмитриевна выглядела свежо, моложаво, казалась не матерью, а старшей сестрой Люды — такое же нежное лицо, такие же каштановые кудряшки, такие же тонкие стрелочки бровей и зеленые глаза.

— Ну, мама, — только вздохнула Люда, — я не понимаю, чего ты болялась?

Ольга Дмитриевна смешалась при этом вопросе. Люда по няя ее смущение и, вырывая мать, сказала:

— Я ведь не маленькая, и я никого не боюсь — ни бандитов, ни жуликов.

— А я боюсь, — подхватила Ольга Дмитриевна, — боюсь нашего двора, боюсь Витку Бурова. Он бандит.

— Мы, кстати, как раз его встретили, он вел себя, как паинька.

— Ну да, потому, что его проучили... Но не в нем дело... Где ты была?

— Мамоchка, я уже сказала папе...

— Да, я информирован, — заметил Николай Львович.

— Но обещай мне, — продолжала Люда, — что не будешь сердиться и ругать меня. Обещаешь? Ну, так вот, я была в ресторане, была с Юрой и с его приятелем Валентином Валентиновичем, ты его знаешь — это тот молодой человек, который тогда во дворе вступился за Андрея и за Мишу Полякова, помнишь?

Ольга Дмитриевна бросила быстрый, тревожный взгляд на мужа, его нежное лицо порозовело. В их семье не было ссор и скандалов, но сейчас ей показалось, что Николай Львович недоволен, разочарован

ван, огорчен. Решив, что она должна все сделать сама, сказала сухо:

— О Юре мне нечего сказать, его мы знаем десять лет, и от этого он не становится лучше, но этот молодой человек... Валентин Валентинович... Конечно, он вел себя тогда, с Андреем, вполне достойно, но этого слишком мало, чтобы судить о нем...

— А что, собственно говоря, надо судить? — спросила Люда.

— Я хочу сказать, что мы его совершенно не знаем.

— Но пойми, мамочка, я ведь не могу знакомиться только с твоими или папиными друзьями.

— Это верно, — согласилась Ольга Дмитриевна, — но ты только познакомишься и сразу приняла приглашение пойти в ресторан. Ведь с кем пошло не ходят в ресторан, правда? Это к чему-то обязывает. Пойти в ресторан с почти неизвестным человеком...

— Я пошла не с ним, а с Юрой, — сказала Люда, призывая в душе некоторую правоту матери.

— Речь, по-видимому, идет о молодом человеке, получающем мануфактуру на нашей фабрике, — сказал Николай Львович.

— Да...

— Мне он не нравится, — сказал Николай Львович. — Ты знаешь, я редко так определенно говорю о людях, о нем я говорю определенно не нравится.

Люда посмотрела на отца, свела тонкие брови, опустила голову:

— Странно... Впрочем, если ты не хочешь, чтобы я с ним встречалась...

— Встретаться или нет — дело твоё; я просто высказал свое мнение.

Она продолжала:

— Мне совершенно неважен и безразличен Валентин Валентинович... Но я не понимаю, что происходит, почему этому придается такое значение... Честное слово, нет ничего особенного... Но когда запрещают — это ужасно...

— Я не запрещаю, — запротестовал Николай Львович, — я сказал: мне он не нравится, ути это, пригласишь к нему внимательно...

Она засмеялась:

— Но чтобы приглядеться, надо встречаться... Папочка, мамуля, милые, все это такая ерунда, ей-богу! Не беспокойтесь ни о чем... Ну, сходил в ресторан, посмотрела, потанцевала с Юрой, попробовала их еду...

— Ну и как? — спросила Ольга Дмитриевна.

— Вкусно... Очень... Но твои блинчики вкуснее, — добавила она великодушно.

Люда долго не могла заснуть, перебирала в памяти это вечер, возвращение, сцену во дворе и приход домой. За ресторан она себя не ругала. Ей хотелось там побывать, это правда. Она пошла туда с Юрой, которого знает сто пятьдесят лет. Юру беспокоит, что будут говорить в школе, — он трус, а ей непонятно, она ничего такого антиобщественного не делала и не делает, даже наоборот, хочет быть, как все, но у нее ничего не получается, ее считают за чужую, а почему? Одевается не так, дочка инженера. Ну, и она не набивается, не вешает же ей на груди плакат: «Хочу быть, как все!» И Юра тоже не такой уж плохой, как его школьная репутация; никакой он не упадочник; его беда — хочет выделяться, а выделяться ему, между прочим, нечем. И если говорить честно, то Юра — трус. Это главное. Из-за этого она испытывает к нему презрение, из-за этого он ей никогда не нравился. Напрасно девочки чего-то там намекали — это все смешно. Единственный, кто ей по-настоящему нравился, вернее, мог бы понравиться, если бы и она ему нравилась, это Миша Поляков. Он прямая противоположность Юре, но он на нее ноль внимания, фунт презрения. И этот

фунт презрения совершенно незаслуженный. Просто у Миши такой характер, он никого в отдельности не замечает, они для него м. а. с. а. Но она не м. а. с. а. Во всяком случае, не для него...

Теперь насчет Валентина Валентиновича. У него довольно красивое лицо, в рассуждениях что-то значительное, даже загадочно значительное. Но он носит лаковые ботинки, и это о многом говорит. И то, что у него так и е деньги, он их так небрежно тратит в ресторане — тоже не в его пользу; у них в семье и у их знакомых таких денег нет, хотя люди вполне достойные. Но может быть, это он позволяет себе не так часто, и угощал он их от души, что ему было приятно. Немного старомодно, правда, этакое гусарство: мол, прогляживай последнее... И он смелый, по-настоящему, не притворяется, Витку Бурова не испугался ни этот раз, ни тот, и это тоже очко в его пользу...

Нет, родители неправы. Конечно, понять их можно. Боятся, что случится то самое. Но напрасно боятся; то самое может случиться, но только с любимым человеком, а она никого не любит, могла бы, может быть, полюбить Мишу Полякова.

Мама — потрясающая трусиха, даже очаровательная, потому что никогда не притворяется. Иногда Люда кажется, что не она ее дочка, а мама эз дочка... Она всегда боится, что у нее с тех времен, боялась домкома, боялась, что их уполняют, отберут комнату, боялась за папу, боялась, что нечем будет накормить семью, а потом, когда появилась мука и все появилось, мама стала перекармливать их, особенно Андрюшу, стала жарить блинчики.

И все же с родителями ей повезло, она понимает и ценит это. Просто она стала видеть больше, чем видит мама, и саму маму видит и папу, как он, например, старается не уронить свой авторитет в семье, напускает на себя хищный, недоступный вид, прячет свою доброту потрясающе; мама это, наверно, понимает; папа на пьедестале, власть законодательная, а мама — власть исполнительная. И сегодня разыгрывала эту роль... Ах, как она их любит... И не будет огорчать, хотя и видит, что вступила с ними сегодня в неразрешимый противоречие... Подумать только, они пытаются решить, с кем ей встречаться, с кем нет, — они, такие неисправимые, доверчивые романтики...

Родители Люды тоже не спали. Это был не первый случай, когда Люда поздно приходила домой, но она всегда предупреждала, они знали, где она. В этот раз она как-то незаметно ушла из дома, ничего не сказала, не хотела лгать, но и правды не хотела говорить. Уж одно это их встревожило... И из случая... Ресторан... Франт в лакированных штиблетах... Впрочем, как познакомились они сами? На даче, в Лианозове, тоже случайно, на любительском спектакле...

— Уверю тебя, — говорила Ольга Дмитриевна, — она зрелая дочь, мы уже ничего не можем ей запретить. Надо воспользоваться тем, что мы пока еще вправе что-то ей разрешать.

— Это логично, — согласился Николай Львович, — надо спасать то, что еще можно спасти.

Нечего спасать, милый, уверю тебя, это все такое молодое, детское!.. Я только против ресторана. Молодой человек должен приходить в дом, бывать в доме. Только так мы можем как-то влиять на Люду, на ее отношения, мы можем видеть, с кем она имеет дело. Кроме того, если человек у нас бьет, я чисто по-женски постараюсь открыть ей глаза на него, на его недостатки, потом можно будет пошутить, посмеяться...

— Все это верно, — сказал Николай Львович, — но понимаешь, этот молодой человек не внушает мне

доверия. И я, откровенно говоря, в некоторой растерянности: по служебным соображениям мне не хотелось бы, чтобы он бывал у нас дома. Но с другой стороны, запретить Люду общаться с человеком, который мне и у д о б а н по службе, в сущности, то же самое, что советовать ей встречаться с человеком, который по службе мне у д о б е н. Исходная позиция в обоих случаях фальшивая, дурная.

Ольга Дмитриевна с удовольствием слушала мужа, это было именно то, что она так ценила и любила в нем. Конечно, он не только не вынуждает Люду встречаться с нужными людьми, но и сам никогда с ними не встречается, и ход рассуждения был удивительно характерен для него.

— Ты очень преувеличиваешь, мой милый, — сказала она, — ты ей действительно ничего не запрещаешь, ты всего лишь высказал свое мнение о человеке, которого ты знаешь больше, чем она. И Люда это правильно поняла. Я думаю даже, что в данном случае она разумнее нас. В самом деле, что произошло? Ничего, в сущности. Задержалась на танцующих, а мы когда-то не задерживались? Только тогда танцевали в саду, сейчас танцуют в ресторанах, вот и все.

— Да, — согласился Николай Львович, — права я, главное, сама не волнуйся.

Николай Львович успокоил жену, но сам не усложился: зато тревожило его в этой истории.

7

Той же дорогой возвращались из ресторана Миша и Славка.

Славка рассказывал об оркестре. Среди музыкантов есть люди одаренные, даже талантливые, например, контрабасист, человек с консерваторским образованием, но не смог найти места в оркестре, их считанное количество, и вот вынужден играть в ресторане, где прилично платят и где кое-что перепадает от гостей, заказывающих музыку.

Своим безразличным рассказом Славка как бы подчеркивал примитивность своих нынешних интересов, отделяя себя от возвышенного мира, в котором живет Миша, жил когда-то и он, Славка. Был пионер, комсомолец — и вот, пожалуйте, пианист в ресторане «Эрмитаж», играет фокстроты для элманов, эфферстов и расстратчиков, веселит их, убаюкивает, зато у хозяина бесplatный ужин — правда, не такой, как гостям, а что остается от гостей.

— Не надо делать из этого трагедию, — сказал Миша, — эпизод в биографии артиста. Напрасно тебя это так угнетает.

— Человек не может двадцать четыре часа в сутки выжить от восторга, — возразил Славка.

— Временный, случайный заработок. Поступил в консерваторию, получил стипендию — все переменяется. Кстати, завтра в фабричном клубе выступает наша живая газета. Можешь бы, проведешь? Как раньше.

— Не знаю... В котором часу?

— В шесть. Тебе в ресторан к девяти, можешь не оставаться на диспут, проведешь выступление и уйдешь.

— О чем диспут?

— Влияние изпа на молодежь.

— И как с этим бороться? — не без насмешки добавил Славка.

— Да, и как с этим бороться.

— Не знаю... Если не будет сыгровки...

— Не придешь — проведет Яшка Полонский, —

закончил Миша, — а придешь, я лично буду рад и буду ждать тебя. Постарайся, пожалуйста.

Они подошли к дому.

В воротах стоял Витя Буров.

— Привет!

— Привет!

— Здравствуй! — сказал Миша.

Витя повернулся к Славке.

— Иди домой, Славка, ложись спать.

— Ты меня отправляешь спать? Может быть, еще в постельку уложишь?

— По-хорошему говорю: уходи! Нам с ним, — Витя кивнул на Мишу, — поговорить надо.

Миша усмехнулся:

— Славка нам не помешает. Славка, не будешь мешать? Очень тебя прошу. Не вмешивайся в наш интимный разговор. Что, Витя, ты мне хочешь сказать?

— Еще раз полезешь не в свое дело — схлопочешь! Арцы — и в воду концы!

Миша сказал Славке:

— И этот грубиян носит имя великого писателя.

Кстати, Витя, почему тебя зовут Альфонсом Доде? Ты его читал когда-нибудь?

Витя поднял кулак.

— Это видал!

Славка попытался встать между ними.

— Бросьте, ребята, прекратите!

— Отойди! А то и тебе вмажу! — закричал Витя.

— Ты ведь обещал не вмешиваться. — Миша отодвинул Славку. — Дай нам спокойно поговорить. Так вот, Витенька, к твоему сведению: Альфонс Доде был великий французский писатель. А французы, между прочим, отличаются вежливостью.

Витя поднес к его носу кулак.

— Я тебе покажу вежливость!

Миша был комсомольский активист, но он был а р б а т с к и й, вырос в этом доме, знал законы и ловадки улицы. Он схватил Виткину руку и вывернул ее. Витка выдернул руку и бросился на Мишу. В ответ ему были лодножка и вполне квалифицированный удар в подбородок.

Витка ушел.

— Опять получишь!

Витка не няя этому предупреждению, поднялся, снова бросился на Мишу, но между ними уже стоял Славка.

— Ребята, прекратите сейчас же!

Вмешательство Славки вряд ли действовало бы на Витку. Но из-за угла появился Навроцкий.

— Добрый вечер!

На скамейке ло-прежнему темнела фигура Шаринца.

— У вас опять серьезный разговор? — улыбнулся Навроцкий.

— Ничего особенного, — сухо ответил Миша. — Пошли, Славка!

— Спокойной ночи! — сказал Навроцкий.

— Пока! — ответил Миша, не оборачиваясь.

Обернулся вежливый Славка.

— До свидания!

Навроцкий проводил их задумчивым взглядом, лотом спросил Витку:

— По-прежнему не ладите?

— А тебе какое дело!

— Как грубо, как грубо, — ломорщился Навроцкий. — Так вот, слушай, Витоня: будешь так разговаривать со мной, я из тебя сделаю беф-строганов с подливкой, лоял!

Это говорил не лощеный делец, а какой-то совсем другой человек...

Его слышал и Шаринец. Навроцкий произнес свою угрозу достаточно громко.

Фабричный клуб был полон, за занавесом слышалась возня — участники готовились к выступлению. Скоро начало, а Слава не пришел — Миша отменил это с огорчением.

Занавес раздвинулся. Яша Полонский заиграл на роле марш живой газеты — причудливую смесь революционных песен, вальсов, старинных романсов и опереточных мелодий.

Под звуки этой своеобразной, но достаточно громкой музыки строй живой газеты — мальчики и девочки, рубашки и кофточки белые, брюки и юбки темные — промаршировали по сцене, декламируя вступление:

Мы сотрудники газеты,
Не артисты, не поэты,
С мира занавес сдерем,
Всем покажем и споём.

Что в Марокко? Все морок!
Что у нас сейчас под оном,
Как во Франции дела,
Как экзекуция прошла.

На Арбате что у нас,
Как в Италии сейчас,
Что в деревне, И короче:
Обо всем ином и прочем!

Хор смолк, шеренга застыла, из-за нее выступила девочка, загримированная под Люду Зичину, сплела пальцы, вынула руки и, поводя плечами, запела:

Я жеманство, тры-ля-ля,
И скажу вам смело:
Люблю глазами стрелять,
Не люблю лишь дела.

Как приятно день-деньской
Щебенить глазами,
И альболюйся с головой,
И не спать ночами.

Завела я дневничок,
В кем пишу стихи я;
Мопассан и Поль де-Кок —
Вот моя стихия.

Девочка отошла в сторону. Из-за строя шагнул мальчик, одетый, как Юра: бархатная толстовка с белым бантом.

Только станет лишь темно,
Страстно ждет меня кино,
Мэри Пинкфорд, Гарри Пилль
Вскочат вдруг в автомобиль.
И, сверкая, как алмаз,
Примкнет и ним Фортенс Дуглас.
Ах, держите вы меня,
Сколько жинки и огни!
Что мне школа, забыл давко,
Дайте мне кино!

Мальчик стал рядом с девочкой. Из-за строя вышел увален, похожий на Витьку Бузова, и басом, подражая Витьке, запел:

Эй, берегись! Посторокись!
Я очень гордый, с поднятой мордой.
Я разгильдяистой! Я друг лействай!
Я чемпионкой всех сильнее.

Я весь проныра и пролаза.
Стенка была я до отказа.
Мне каждый враг, кто не со мной.
И всех зону с собой на бой!

Появился мальчик, загримированный под Мишиного приятеля Генку — вылинявшая солдатская гимнастерка и латаные штаны, заправленные в стоптанные сапоги. В руках у него была громадная метла.

Я чемпион, я чемпион,
Нас легион, нас легион.
Эти паразиты здесь и там
Не дают работать нам.
Всех их с собой требую на бой!
С шей долон
Сбросим метлой!

Чемпион бьет метлой Барышню, Пижона и Хулигана — они падают под его ударами; строй, маршируя, удаляется за сцену. За ним, охая и стеная, плетутся Пижон, Барышня и Хулиган.

Потом были сцены из международной жизни, из жизни школы и фабрики. Встреча на сегодняшнем экране документальные кадры живой газеты двадцатых годов, известной под названием Синей блузы, — современный зритель, возможно, воспримет их как наивные. В те годы это были ростки новой культуры, массовое действие, созвучное времени и увлекательное зрелище.

На сцену поднялся Миша.

— Живая газета показала персонажи, на которых мы видим тлетворное влияние изпа: хулиган, пижон и барышня. Изп принес с собой и другие отрицательные явления. Как с ними бороться — вот предмет сегодняшнего диспута. Кто хочет выступить?

Встал Генка, одетый так, как его только что изобразили, — вылинявшая солдатская гимнастерка и латаные штаны, заправленные в стоптанные сапоги.

— Пошлость и мешаство — вот главный враг. Носят банты, галстуки, ажурные чулки, воняют духами. К чему эти декорации?

— Чем тебе мешают галстук? — спросил Яша Полонский.

— Надо открывать шену солнцу, а не ходить, как собачка, в ошейнике.

— А ажурные чулки?

— Для чего они? — воскликнул Генка. — Чтобы какой-нибудь гнилокровный буржуазный выродок любовался «изящной дамской ножкой» на танцующих?

— Ты против танцев?

— Их вред доказан наукой.

— Где ты это вычитал?

— Могу и тебе дать почитать. А некоторые элементы еще продолжают вертеть ногами. Танцы насаждают мелкобуржуазные нравы. Обращаются из «вы», говорят «извините», «простите», «пardon» — все это гнилая интеллигентщина. Я сам видел, как один комсомолец подавал комсомолке пальто. Зачем? Чтобы подчеркнуть ее неравноправность? Ведь она ему пальто не подала.

— Хочешь, чтобы тебе подавали?

— А если у них любовь?

— Разве любовь в том, чтобы подавать пальто? Я не отрицаю любовь...

— Спасибо, благодетель!

— ...Но только на основе общей идеи...

Молодой звонкий голос из зала пропел частушку:

Ох, по дороге колокольчик,
Сердце словно прыгает.
Ох, не влюбляйся в комсомолку,
Скукою измывает.

Эти и последующие стихи капкансы в двадцатых годах учеником московской школы имени Лепешинской — Яшея Полонским, Погиб на фронте в Великую Отечественную войну.

— Генка, про тебя!

На сцену подиался Зина Круглова в форме юнгштурма — защитного цвета гимнастерка и юбка, широкий ремень, португеп через плечо.

— Мужчина называется мужчиной потому, что он мужественный.

— Вода называется водой потому, что она водянистая, — вставил Яша Полонский.

— Поэтому, — продолжала Зина, — если парень подает девушке пальто, в этом нет ничего унижительно-го, простая вежливость.

— Женщина называется женщиной потому, что она женственная, — не унимался Яша.

— Имзано! Почему обязательно ходить в сапогах, я предпочитаю туфли...

— Танцевать удобнее?

— Хотя бы! Мы будем танцевать независимо от того, разрешает это Генка или нет.

На сцене появился Юра.

— Я признателен Яше Полонскому за то, что послужил ему прообразом, дал пищу его богатой фантазии, его блестящей музе, горжусь этим. Но еще больше благодарен Генке: он поставил все точки над «и». Чего он хочет? Стандарта! Всех подогнать под один тип: одинаково одевайтесь, одинаково развлекайтесь, одинаково думайте! А я, например, не хочу. Хочу быть самим собой. И буду носить бант. Привет!

— Мы не хотим стандарта, — сказал Миша, — но нельзя думать только о себе — о своей внешности, карьере, благополучии. Не в том дело, что ты носишь бант, а в том, что бант заменил тебе все.

— Он забантовался! — крикнул Яша.

Руку поднял Саша Панкратов.

— Я хочу сказать насчет хулиганов. Некоторые размахивают финками.

— Это ты про меня, что ли? — ухмыльнулся Витка Буров.

— Да, про тебя. Ты выражаешься. Слова говоришь.

— А ты слышал? Слышал, как я ругался?

— Слышал.

— Как? Повтори!

— Сам знаешь, как. Я тебе потом повторю.

— И я слышал... И я! — закричали ребята в зале.

— А вы не слушайте! — огрызнулся Витка.

Зина Круглова сказала:

— Мало того, что Буров хулиганит сам, он вовлекает в хулиганство малолетних.

— Судить показательным судом! — сурово объявил Генка.

— А право имеешь?

— Имеем. Школа отвечает за наш дом.

— Ой, испугался, — ухмыльнулся Витка, довольный, что оказался в центре внимания. — Когда судить-то будете?

— Сообщим, не забудем, — пообещал Миша, — не беспокойся, как-нибудь справимся с тобой. Запомним, на всякий случай. Итак, предложения?

— Повести решительную борьбу с мешанством, пошлостью и обывательщиной, — предложил Генка.

— Общо. Давай конкретнее.

— Запретить галстуки, банты, ажурные чулки, духи.

— А одеколон? — спросил Яша.

— Тоже.

— Одеколон не роскошь, а гигиена.

— Этот лозунг выдумали чистяники-парикмахеры.

— Кто за предложение Генки? — спросил Миша.

Руку поднял один Генка.

— Какие еще предложения?

— Запретить танцукли! — объявил Генка.

— У меня другое предложение, — сказала Зина Круглова. — Танцы разрешить, кроме фокстрота и чарльстона.

— Что помечу?

— В фокстроте прижимаются.

— А ты не прижимайся.

— Это буржуазный танец, — настаивала Зина, — никто не умзет его по-настоящему танцевать, получается одно кривляние и вильяние.

Тот же молодой, звонкий девичий голос из зала выкрикнул:

— А барыню-сударыню можно?

— А трепака?

— Лично я предпочитаю лезгинку, — сказал Миша, — кабардинскую и каурскую, но в перерывах между ними иногда задумываюсь: для чего я живу и работаю?

9

Д испуг только возвысил Витку Бурова в собственном мнении, он стал там центральной фигурой. Он и шел в клуб в расчете, что о нем заговорят, а если нет, то он выкинет такое, чтобы заговорили.

В своей обычной расслабленной позе Витка сидел во дворе, на пустом деревянном ящике позади первого корпуса, в узком проходе между стеной дома и забором. Рядом на асфальте расположились Шныра, Фургон и Белка. У угла, на стreme, стоял Паштет. Было утро, не самое раннее, часов десять. Воскресенье.

Паштет махнул рукой — все в порядке.

Витка лениво встал, потянулся, даже зазвнул, поднял Белку, она встала ему на плечи и проскользнула в форточку.

Витка опустился на ящик, принял прежнюю позу, Шныра и Фургон не сделали ни одного движения, Паштет был на посту. Все совершилось молниеносно, никто не заметил — задний тупик двора, по нему не ходят, задняя стена дома — ни дверей, ни подъездов, впереди — глухая кирпичная стена.

Белка очутилась в пустом фойе кинотеатра «Арбатский Арс».

На стенах висели афиши, рекламы, фотографии из кинофильмов.

У стены возвышалась буметная стойка под круглым стеклом. Белка отодвинула дверцу. Скрип не смутил ее: кинотеатр заперт снаружи. Проверено.

Она сняла с прилавка четыре бутылки лимонада, пирожные, конфеты, бутерброды, сложила в мешок, вернулась к окну, поскребла о стекло.

Витка снова так же неторопливо поднимался, протянул руку, взял мешок, помог Белке вылезти из окна. Белка схватила мешок и скрылась с ним в подъезде черного хода.

Ребята обогнули корпус, очутились на переднем дворе, где играли детишки, и подошли к пожарной лестнице.

Узкая металлическая лестница начиналась от второго этажа и, прикреплена к стене металлическими прутьями, достигала крыши восьмизатного корпуса. У крыши прутья были оторваны, верх лестницы раскисался.

Витка уселся на нижней ступени лестницы.

— Куда забрался, места тебе другого нет? — недовольно заметила дворничиха.

— Сидеть нельзя!

— Нельзя, слазь!

Витка потянул носом воздух.

— Мне кислород нужен, кислороду не хватает.— Он поднялся еще на две ступеньки, снова потянул носом.— Хороший кислород, первый сорт.

— Доиграешься, Витка!

Дворничиха ушла со своей метлой. Витка ухмыльнулся: цель достигнута, все видели, что он на лестнице и, следовательно, к буфету отношения иметь не может. Ему было нужно а ли би, слово, которого он не знал, но представление о нем имел.

Шныра, Паштет и Фургон, задржав головы, смотрели, как Витка поднимается по лестнице.

Достигнув четвертого этажа, Витка свесился и заглянул в открытое окно. Перед зеркалом сидела Ольга Дмитриевна в халате и с полотенцем на голове.

Ухмыляясь, Витка смотрел на нее.

Она оглянулась, вскрикнула в испуге.

Витка скорчил страшную рожу.

Ольга Дмитриевна вскопчила с пуфика, закрыла окно, задернула занавеску.

Довольный своей проделкой, Витка посмотрел вниз, желая увидеть, какой эффект произвела она на ребят, как вдруг заметил проходящего по двору Шаринца.

— Где Белка? — спросил Шаринец Шныру.

— На знаю.

Витка спустился вниз, спрыгнул с лестницы.

— Тебе чего?!

— А тебе чего?!

— Ну и мотай отсюда!

— Ты, Витка, один, а я не один.

— Плавал я на твоих, ты моих не трогай.

— Дождешься! — пригрозил Шаринец и пошел со двора.

Витка снова взобрался по лестнице. Рискованно балансируя на пруте, дотронулся до окна, взял стоящую между рамами банку, запустил в нее палец, набрал варенья и отправил в рот.

Малышки криками и смехом выразили свой восторг.

В следующем окне, этажем выше, Витка увидел целующуюся парочку.

— Сосед, что делаете?

Парочка оглянулась, девушка выскочила из комнаты.

В окне следующего этажа усатый дяденька сосредоточенно уминал за столом большой шматок сала.

— Дай кусочек!

Усатый перестал жевать и озадаченно уставился на Витку.

Забавляясь таким образом, Витка достиг вершины лестницы. Край ее не доходил до крыши, оба прута были сломаны.

Предстояла самая опасная часть операции.

Сильно и размахисто раскачиваясь, Витка приближал верх лестницы к крыше и, когда она достигла ее, схватился рукой за желоб, подтянулся, перекинул ногу на крышу, продолжая удерживать лестницу сначала ногами, потом руками.

Улегшись на крыше, крикнул вниз:

— Давай!

Ловко и быстро, как обезьяна, взобрался Шныра. За ним, умирая от страха, начал подыматься Фургон. Добравшись до середины, остановился, посмотрел вниз.

— На меня смотри! — крикнул Витка.

Фургон снова начал неловко подниматься. Витка протянул ему руку и перетянул на крышу. После того, как уверенно взобрался Паштет, Витка отпустил лестницу.

Ребятишки внизу с завистью следили за их подъемом. Виткино тщеславие было удовлетворено, и он крикнул вниз:

— Привет!

Через слуховое окно он спустился на чердак, перелез через балки и стропила, откинул задвижку на двери. На площадке черного хода сидела Белка с мешком.

— Час сижу!

Он впустил ее на чердак, накинул задвижку.

...Вся компания сидела на крыше.

Витка вынул из мешка бутылки с лимонадом, пирожные, бутерброды, конфеты, отложил в сторону две закупоренные банки с монпансье.

— Это в Крым.

Он снова через слуховое окно спустился на чердак и спрятал банки в чуланчике, замаскированном досками и фанерой. На полу лежали тюфяк и равное одеяло, на досках, заменявших стены, висели открытки с видами Крыма.

Он вернулся на крышу, откупорил лимонад, разложил пирожные и конфеты.

— Шамайте! В Крым поедем — в вагоне-ресторане будем обедать.

— Что за вагон-ресторан?

— Вагон, а в нем столики, ресторан. Поезд идет, колеса постукивают, а ты рубашку, официант подает, что закажешь, а закажешь, что захочешь, — рассказывал Витка предстоящую поездку в Крым. — Пообедаешь — и к себе, по тембурам, из вагона в вагон, все на ходу. Пришел в свой вагон, заваливаешься спать, у каждого своя полка — плацкарт называется. Спать не хочешь — смотри в окно. Главное — деньги сделать.

— А как деньги сделаем? — спросил Фургон.

— Тебе что позволили такие вопросы задавать? Испуганный Фургон молчал.

— Кто, спрашиваю, позволил? Или кто подучил? Подослал? Кто? Мишка Поляков? Сашка-Фасон? Говори! А то сбросю с крыши. Арцы — и в воду концы!

— Он просто так спросил, — вступился Шныра.

— Заткнись! Если кто насчет Крыма натреплет, голову оторву.

— А чего трепаться? — возразил Шныра. — Думаешь, не знают? Знают.

— Откуда? Кто сказал?

— Да брось ты! Сам сколько раз говорил: Крым... Крым...

— А хорошо в Крыму? — спросила Белка, предупреждая ссору.

Ее наивную дипломатию поддержал Паштет.

— Спрашивает! Все в Крым едут. Было бы плохо, не ездили. Там море кругом.

— Всесоюзная здравница называется, — добавил Шныра.

Витка лег на спину, подставил лицо солнцу, мечтательно заговорил:

— Самое лучшее место — Крым. Море, само собой, тепло круглый год, хочешь — купайся, хочешь — загорай. Фрукты ни по чем: груши дождь, виноград дамские пальчики, абрикосы — копейка фунт. В Ливадию поедем, там дворец, царь Николай жил. Ялта... Главное, ксиву надежную иметь, а то снимут с поезда как безнадзорных.

— Какую ксиву? — спросил Фургон.

— Вот дурачок, — засмеялся Паштет, — ксива — документ, значит.

— Ксива будет такая, — сказал Витка, — эскурия, вы ученики, я за старшего. Печать поставим — и порядок.

— А где печать возьмем? — опять спросил наивный Фургон.

Витка приподнялся, пристально посмотрел на Фургона.

Шныра опять защитил приятеля:
— Он просто так спросил... Не видишь разве, дурачок еще, ничего не понимает.

Витка погрозил Фургону пальцем.

— Много знать хочешь, треплешься. Не суйся, за тебя все сделают.

Он замолчал, прислушался: дергали чердачную дверь.

Витка сделал знак сидеть тихо, спустился на чердак, прокрался к двери, прислушался.
За дверью разговаривали. Витка узнал голоса Миши и Генки.

— ...Кто-то запер дверь. Управдом, что ли...

— ...Замка нет, изнутри заперта...

— ...Пойдем со двора...

Было слышно, как они спускаются по лестнице.

Витка вернулся на крышу, лег на спину.

— Миша с Генкой... Убегались...

10

Миша и Генка вернулись во двор и подошли к пожарной лестнице.

Миша надел на шею моток проволоки, прикрепил к поясу связки роликов и стал взбираться по лестнице. За ним с двумя шестами последовал Генка.

Их подъем был прерван появлением в окне женщины с растрепанными волосами и банкой в руке.

— Хулиганы! Ворюги! — кричала женщина, поворачиваясь во все стороны и показывая Банку жильцам. — Полбанки варенья сожрали!

Миша недоуменно смотрел на нее.

— Не трогай мы вашего варенья.

Мужчина в подтяжках, в другом окне, укоризненно качал головой:

— Стыдно, Миша, а еще комсомолец. И ты, Генка! Вот уж не ожидал.

— Не видели мы никакого варенья! — закричал Генка.

— Хулиганы! Бездельники! — бушевала женщина.

— Какое варенье? — осведомился Миша.

— Еще спрашивает! Клубничное.

— Извините, мы не едим клубничного варенья. Мальчики поднялись выше.

— Мытарства первых радиоприемников, — сказал Миша. — Такие, как ты, прокладывают дорогу в будущее.

— Сознание этого только и поддерживает во мне бодрость духа, — ответил Генка, подтягивая шесты.

На восьмом этаже из окна выглянул русоволосый рабфаковец, подмигнул:

— Радиозайцы?

— Мы зарегистрированные.

— Будете крышу ломать? Крыша-то надо мной.

— Даже не дотронемся, — успокоил его Генка.

Миша проделал то же, что и Витка: раскачал верх лестницы, перебрался на крышу, удержал лестницу.

Генка передал ему шесты и тоже перебрался на крышу.

Они не удивились, увидев здесь Витку: компанию: они сами в свое время лазили сюда погнаться на солнышке. Но компания была враждебной. И этот пир... Откуда такие яства? Ворованное, в этом не могло быть никаких сомнений.

Миша не хотел затеваться здесь, на крыше. Не место.

Но Генка, как всегда, не смог удержаться:

— Богато живете!

— Живем! А что? — ответил Витка, спокойно отхлебывая сидро из горлышка бутылки. — Завидно?

— Наверно, — пробормотал Генка, прикрепляя шест к дымовой трубе.

Когда Миша натягивал антенну, лежавший на его пути Витка не пошевелился. Миша перешагнул через него.

Витка ухмыльнулся.

Убедившись, что спуск висит хорошо, между окон, Миша и Генка через слуховое окно спустились на чердак, перелезли через балки и подошли к чердачной двери.

— Устроил ночлежный дом, — сказал Генка и оторвал задвижку. — Сам ворует, — продолжал он, спускаясь с Мишей по лестнице, — и маленьких причащает. Вот тебе и диспут! Певал он на наш диспут. Его надо изолировать. Наши школьники участвуют в воровстве, мы это видим и никак не реагируем, закрываем глаза. А если они попадутся на настоящем преступлении!

Очутившись во дворе, они натянули свисающий с крыши провод.

Из окна выглянул Славка.

— Приходи, сейчас слушать будем, — сказал Генка.

— Ладно!

Из подъезда вышел Валентин Валентинович Навроцкий, на этот раз не в светлом, а в темно-синем бостонском костюме.

— Здравствуйте, Миша!

— Guten tag! — ответил Миша.

Навроцкий сделал вид, будто не заметил насмешки.

— Радио устраиваете?

— Пробуем, — ответил Генка.

Миша пристально и изучающе рассматривал Навроцкого.

Навроцкий ответил ему таким же взглядом.

Так некоторое время они молча смотрели друг на друга.

Потом Навроцкий сказал:

— Радиостанция Коминтерна скоро начнет свои передачи. Так, во всяком случае, пишут в газетах. Миша молчал.

— Кстати, — продолжал Навроцкий, — на крыше вы не встретились со своим недругом?

— С каким недругом?

— С этим, как его, Альфонсом Доде, так, кажется, его зовут.

— Его зовут Виктор Буров, — хмуро ответил Миша.

— Возможно. Как раз перед вами он со своим акционерным обществом взобрался на крышу.

— Чердак — его постоянное местожительство, там и ночует, — сказал Генка.

— Я поражен, — сказал Навроцкий, — он так легко отделился. Размахивал финкой, а его поддержали час в милиции и отпустили.

— Он никого не зарезал, — возразил Миша.

— Но была попытка.

Навроцкий был прав, но Миша не хотел с ним соглашаться.

— Я думаю, была только попытка похвастаться своим ножом.

Навроцкий засмеялся.

Он хахнул, оказывается, вот почему его называют Альфонсом Доде... Но, знаете, сегодня он хвастается ножом, завтра пустит его в ход. Мы в обществе «Друг детей» часто сталкиваемся с го-

добными ситуациями — один негодяй портит десяток детей: они тоже заводят ножи.

— Этого мы ему не позволим, — сказал Генка, — как-нибудь справимся. Не с такими справлялись.

— Между прочим, — сказал Навроцкий, — у одного моего приятеля есть итальянский детекторный приемник. Свой вы, наверно, сами собрали!

— Сами, — подтвердил Генка.

— Ну вот, а то фабричный, настоящий, их производят в Италии. Если хотите, я попрошу на время, вы послушаете, может быть, скопируете что-либо.

— Спасибо, мы попробуем свой, — ответил Миша.

— Желаю успеха, — сказал Навроцкий.

II

От же комод, покрытый белой салфеткой с кружевной оборкой, квадратное зеркало с зеленым лепестком в углу, моток ниток, пропихнутый длинной иглой, старинные фотографии в овальных рамках с тисненными золотом фамилиями фотографов. Мало что изменилось в этой комнате. Только вместо широкой кровати с горой подушек стояли две узкие койки: одна, отгороженная занавеской, — для тетки, другая — для Генки. На маленьком столике в углу — детекторный приемник, пачки тонкого шнура в белой обмотке, шурупы, гайки, винты, отвертка.

Генка присоединил антенну к приемнику, надел на голову наушники и, осторожно тыкая острием иглы в камешек, пытался поймать какую-нибудь станцию. Из наушников доносились шипение, хрип, свист.

Генка положил наушники в стакан. Сквозь хрип и свист донесся далекий глухой голо:

«Из Парижа передают: правительство Пенлеве-Бриана-Каю поставило в палате депутатов вопрос о доверии»...

— Ну что! — торжествуя спросил Генка.

— Блеск!

— Красота!

Однако опять послышались хрипение, свист, треск и шум...

— Ничего, — сказал Генка, — будет работать не хуже итальянского.

— А ты его видел, итальянский? — спросил Славка.

— Рассказывал тут один тип... Валентин Валентинович, предлагал даже. Зря ты, Мишка, отказался. Была бы хоть польза от измама.

— Он не измама, а агент по снабжению.

— Один черт! Посмотри на костюм, галстук, лакированные ботинки.

— Ты грубый и примитивный социолог, — сказал Миша, — для тебя, одежда — главный признак классово-принадлежности.

— Больше того! — подхватил Генка. — Признак его психологии. Человек, возводящий в культ лакированные ботинки, пуст, как барабан.

— Культом могут стать и стоптанные сапоги.

— Просто у меня нет друзей.

— Возможно, Валентин Валентинович не так уж плох, — заметил Славка. — Тогда с Витькой, с финкой, другой бы боялся «вязаться», а он вышел и сказал правду.

— Это так, — согласился Миша, — и все же... Гладкий, сладкий, обходительный...

— Коммерсант, он и должен быть обходительным.

— Зинки приказал задержать его вагон, а Красавцев отправил. Потом я их видел вместе в ресторане. В чем суть махинации?

— Дает зятки Красавцеву, дает в лапу, а тот ему побыстрее отпускает товар, — объяснил Славка.

— Спокойно ты об этом говоришь...

— А что? Стенать, рыдать, посыпать голову пеплом? Только слепой не видит, что делается. Хапота, рвот, тащат, дают взятки, берут взятки. Мелкота все сваливает на четыре «у»: усущка, утруска, угар, утечка. Крупняки становятся миллионерами на четырех «без»: бесхозяйственность, безответственность, безграмотность, безразличие. Какое мне дело до Навроцкого, до Красавцева, когда их тысячи?

— Раню ты складываешь оружие.

— Просто я вижу немного больше. Другая, знаешь ли, площадь.

— Эстрада для оркестра.

— Ты хочешь меня оскорбить?

— Просто я хочу сказать, что ресторан не такая уж высокая площадка для обозрения жизни.

— Тебе остается довить, что я гнилой интеллигент.

— Не надо говорить за меня, — возразил Миша, — Я могу сам за себя сказать...

— Пожалуйста, говори!

— Могу. Не следует собственные невзгоды превращать в барометр, в мерило жизни всего человечества. Тебе сейчас плохо, да, плохо, трудно. Но это не значит, что наступил мировой потоп. Он еще не наступил. Ты видишь измазнов, аферистов, взяточников, но жизнь — это не только ресторан «Эрмитаж», жизнь значительно больше, чем ресторан «Эрмитаж». И если кучка паразитов, именно кучка, оборвывает государство, крадет и расхищает народное добро, вряд ли можно быть безразличным. Этот разговор должен быть рано или поздно произойти, он просто откладывался. Все же Генка примирительно сказал:

— Я думаю, вы оба неправы. Безусловно, ты, Славка, субъективен. Нэл — это временно, и нельзя так обобщать. С другой стороны, ломать голову над их делишками тоже не следует. Нам в их коммерции не разобраться, да и есть кому разобраться помимо нас. У нас свои задачи и свои обязанности, мы уклоняемся от них, прямо говорю. Юра и Лида шапатоны по ресторанам — разве им место в советской школе? А мы молчим, мы в стороне. Витька Буров разлагает учащихся нашей школы, малолетних, заметьте, — мы опять в стороне, опять молчим.

— Им интересно с Витькой, — сказал Славка, — он их заворожил Крымом.

— Ах, так! У него, у Витьки, значит, романтика, а у нас скучная проза. Это ты хочешь сказать?

— Именно это, — подтвердил Славка.

— Ну, знаешь... Защищать Витьку...

— А что такого? В сущности, он не злой парень.

— Он бездельник! — сказал Миша.

— Не забывай, что у него дома.

— Ах, да, отец-алкоголик — это оправдание?

— Не оправдание, а объяснение.

— Витька Буров — достаточно взрослый человек, чтобы отвечать за себя сам, а не прятаться за отца-алкоголика, и не сидеть на шее у матери, и...

Генка перебил его:

— Тише, тише! Слышите? Говорит Нижний Новгород...



Витка подошел к антенне.

— Что за фигура?

— Антенна для детекторного приемника,— объяснил Фургон.

Витка понятия не имел, что такое детекторный приемник, но показывать свою неосведомленность не хотел, а потому спросил пренебрежительно:

— Ты откуда знаешь?

— Ребята в школе делают. Наушники надевают и слушают радио.

— Ни черта они не услышат!

Так он выразил свое презрение к авторам этой затеи. Но сама затея обеспокоила: они вторглись в его владения. Крыша—его резиденция; чуланчик—его спальня, чердак—хранилище всего, что собирают они на Крым.

Первым побуждением было сорвать проволоку, сломать дурацкие палки, торчащие над дымовыми трубами и уродующие крышу.

Он этого не сделал. Миша и Генка заявятся снова, поставят палки, натянут проволоку; они не отступятся, Витка их хорошо знает, и если здесь на крыше начнутся драки, то он вовсе ее потеряет.

Эти рассуждения санидарствствовали о наличии у Витки здравого смысла. Однако вид задвижки, соединенной с чердачной дверью, привел его в бешенство—он чуть было не вернулся на крышу и не сломал их чертовое сооружение. Но уличная, чисто арбатская выдержка победила и на этот раз. Слишком важен для него чердак, чтобы принимать решение, продиктованное желанием отомстить. Чердак—его дом. Родительский дом Витка не любил, не любил отца-алкоголика, наделоли попреки: когда будешь работать, когда будешь зарабатывать?... А что он?! Стоял на бирже труда, очередь на бронь подростков большая, в ФЗУ не послали, в пекарню загляни, к черту на рога, на Разгуляй, являлся к пяти утра, ночевать ему в пекарне, что ли? Пекарня тесная, душная, грязная—вкалывай! Бросил, вернулся на биржу, а ему: «Не хочешь работать!»

Съездит в Крым, погуляет, а потом устроится на работу, только на такую, чтобы по душе. Завод, фабрика—каждый день одни и те же морды—ни за что! Хотела мать определить к сапожнику—спину гнуть, подметки подбивать. Сапожник—последний человек: в кино и то орут на механика: «Сапожники!»,—когда части путает или вверх ногами показывает. Вот лифты—это подходящие. Приходил мастер, лазил на чердак, в машинное отделение, Витка увязался за ним. Мастер сказал: летом будут лифты налаживать. Раньше электроэнергия не было, из-за этого не пусkali, а теперь энергия есть, а мастеров не хватает. Лифты старые, изношенные, поломанные, все растащено, ремонтировать надо, дело тонкое, сложное, а мастеров на всю Москву—две, три, и обчелся.

Витка лазил с ним по чердакам, показывал тросы, блоки, знал, где что лежит, мастер его одобрил, сказал: возьми в помощники, научу, будешь за лифтами смотреть. Налаживать лифты—это да, это устраивало. В доме шесть подъездов—шесть лифтов. Пустит лифт—будут люди подниматься, не пустит—попутрп ехом на восьмой этаж. Это придаст ему значительности. Витке хотелось быть значительным именно здесь, у себя дома. Придут к нему: товарищ Буров, почините, пожалуйста, лифт, не работает, не поднимается, или не спускается, или застрял какой-то чуждй между этажами—потеха! Захочет—починит, не захочет—нет, не починит. И не надо тащиться на завод, толкаться в травмае. Не только сам себе—

всему дому хозяин. Ключи от чердака в кармане, на чердаке—аппаратная будка, никто не имеет права войти, всех с крыши погонит, покажет им палки с проводами, антенны ихние и радио! Сиди себе дома; если что надо, сами за тобой прибегут. После Крыма лифты были второй мечтой Витки.

Он прохаживался по Арбату, совершал привычный рейс по улице, интересами которой жил, где знал каждый булыжник мостовой, выбоину на тротуаре. Но ничего нового на улице не было, и Витка пошел поест что-нибудь. Потом он отправится на чердак и устроит такую задвижку, какую ни Миша, ни Генка не оторвут, пусть лазают по пожарной лестнице.

Картина, которую он застал дома, его не удивила, он привык к подобным представлениям, особенно по воскресеньям.

За столом сидел пьяный отец. Где успел набраться с утра, черт его знает! Витка с неприязнью смотрел на его побуревшее от водки лицо. Плохавый какой-то, грязный, жалкий. Витка его особенно презирал за то, что жалкий. Было стыдно, что у него т а к о й отец. Никто его в доме не уважает. И оттого, что никто не уважает его отца, Витка упорно ут-верждал себя.

— Дай рубль, говорю, тебе говорю, дай сейчас же, кому говорю!—бубнил отец.

— Нет у меня рубля, сказала тебел

Засучив рукава, мать стирала белье в деревянном корыте.

— Кому говорю!—запетающимся языком повторил отец, не обращая внимания на приход Витки, будто тот и не пришел вовсе.

— Хватит, набрался, спать ложись!—сказала мать.

— Мне долг надо отдать... Понял?.. Д-долг...

Д-долг отец, понял?

Отец куражился, показывая, что он городской, а мать деревенская. Он пытался встать, но пошатнулся и опять опустился на табурет.

— Работать надо, а не долги давать!—Мать сильными руками перетирала белье в жидкой мыльной пене.

— Я без... безработный... Долг чести...

— Не пил бы, так и не был бы без работы.

— Работа... Я мастер, дура!

— Не мастер ты, алкоголь! Занавески и те пропал. От людей стыдно... Хоть бы куда провалился с моей головой, алкоголь проклятый! Хоть бы тебя пьяного травмаем задавило!

— Это-то... Это-то ты на кого!—Буров опять поднялся, удержался на этот раз в вертикальном положении.—На кого, спрашиваю, на мужа? На мужа, который, значит, тут есть лицо... Такие слова!

Витка загордел мать.

— Ложись спать, папаша!

Он был одного роста с отцом, но плотнее и сильнее его.

— Ты! Как смеешь!

Отец поднял кулак, но Витка перехватил его руку.

— Ложись спать, папаша!

Собравшись, что если он вырвет руку, то упадет, Буров-отец завопил:

— На отца! Люди! Народ! Караул! Убивают!

Но люди не откликнулись: в квартире привыкли к скандалам у Буровых. Жили они на первом этаже, крики были слышны во дворе, но и во дворе никто не отозвался: тоже привыкли.

Витка держал руку отца.

— Не смей ее трогать!

Открылась дверь, и появился Миша, остановился, молча взирая на происходящее.

Буров-отец вырвал руку, плюнулся на табуретку.
— Тебе чего?! — спросил Витка.

— Дело есть.

— Не звали тебя, Чеши!

Буров-отец ударил кулаком по столу:

— Нет! Не уходи, товарищ! Сморти, как сын на отца кидается. Сморти, какие дети пошли. Раньше их ремнем, а теперь нет, права не имеешь.

— Не вовремя вы пришли, — сказала Бурова-мать.

— Не уходи! — кричал Буров-отец. — Я их, паразитов, жуиденцев, корилло, пою... И меня же, в моем доме... Куда мне теперь деваться?!. Сын — бездельник, хулиган, отца не уважает, на отца кидается... Убить хочет, смерти моей жelaет...

— Чего на парня возводишь, — сказала Бурова-мать. — Сам ты паразит, бездельник. — Она обернулась к Мише. — Меня ударить хотел, а Витя не дал. Разве сын позволит мать бить?

— Ты зачем с ним разговариваешь?! — нахмурился Витка. — Он кто? Лезет тоже! Убирайся, уходи! Сказали тебе!

— Может, и ты со мной выйдешь? — сказал Миша.

— Зачем?

— Поговорим.

— Не о чем. Звали тебя! Иди!

— Будь здоров! Только не шумите так, на весь двор.

— Не твое дело! — отрезал Витка.

13

Комбинация Навроцкого была проста. На фабрике товар оформлялся как бракованный или третьесортный. На самом деле товар был высококачественный. Сбывая его частникам по цене, во много превышающей фабричную, Валентин Валентинович зарабатывал столько, что был вполне подготовлен к возвращению России к капитализму, а о том, что Россия к нему возвращается, свидетельствовал нзп: восемьдесят пять процентов розничной торговли уже в частных руках.

Надо получить на фабрике еще пять вагонов мануфактуры. Такой куш решит проблему, позволит уйти в тень и дожидаться, когда новая экономическая политика окончательно вернется к старой, деревенской. Объявили, что отступление кончилось, усилили налоговые пресс, нажимают на частника — все это временное, государство делает отчаянные попытки сохранить терпящие позиции. Бесполезно, против законов экономического развития не попрешь, без частной инициативы не обойдется.

Он финансовый гений, потенциальный промышленный магнат, попавший в условия социальной революции. Уехать на Запад? Жалкая судьба русских эмигрантов его не устраивала. Они не предвидели будущего России, они близорукы, а он проразлив. Он завершает свой период первоначального накопления, возвращает себе то, что государство отобрало у других. Кому принадлежала эта фабрика? Братьям Буткиным. По какому праву Советская власть отобрала ее? Для создания нового общества? Прекрасно! Теперь он отбирает отобранное для возвращения к старому обществу.

Такова конечная цель. А конкретная задача — получить пять вагонов мануфактуры. Но на пути встал инженер Зимин, велел задержать вагон, хотел проверить товар, теперь требует документы. Но инженер при всей своей барской инешности, по-видимому, не так уж неприступен. Вечер в ресторане и Люда — первый шаг. Люда — очаровательная девушка,

хотя ее «мамани» Навроцкому еще больше понравилась. Но «мамани» смотрит на него пустыми глазами, еле отвечает на поклон, Люда перспективнее, у нее к нему какой-то интерес, остается его развить. Девочка неглупа, держится достойно, даже аристократично; как и он, увлечена действительностью. Он еще не разобрался, как реагирует она на его рассказы и философию, но то, как он отодвинул плечом Альфонсо Доде, действовало наверняка. Девочке нужен герой. Бьен! Он и есть герой.

Валентин Валентинович требовал от людей уважения, которое он испытывал сам к себе, высоко ценил свою репутацию; она нужна ему не только в будущем, но и в настоящем охранять, внушать уверенность и спокойствие. Он никого не боится, но всегда нахму, собран, мобилизован — чужая неприязнь не бывает случайной, надо знать, что за ней скрывается — удар, даже самый слабый, может иметь губительные последствия.

Миша Поляков смотрит, как волчонок. Почему? Усек с вагоном? Сомнительно. Шокирует модный костюм. Ведь они ходят в косоворотках и кожаных куртках. Ну, уж такое он на себя не напялит, такая мимикрия ни к чему. И вообще к черту этого мальчишку, молокосос, не стоит о нем думать...

Однако этот мальчишка испортил ему настроение. Что-то непримиримое во взгляде, такого не купишь, на промышленного магната он работать не будет. Навроцкий знал, как разговаривать с фининспектором, с властью, даже со следователем. Миша представлял не власть, а идею, мораль, нравственность, а к этому у Валентина Валентиновича ключа не было.

В плохом настроении Навроцкий никогда не признавался, у него нет права на плохое настроение. Свое нынешнее настроение он называл не плохим, а лирическим.

Он так и сказал Юре, когда они встретились у ресторана «Эрмитаж»:

— У меня, мой друг, сегодня лирическое настроение. Мы не пойдем в этот вертеп. Мы честные труженики, и я не желаю сидеть рядом с гориллами и мандрилами. Мы пойдем к артистам. Ты собираешься стать Рудольфо Валентино, я в душе поэт.

Так они очутились у маленького кафе «Эклер» — название несколько странное для места, где собирались артисты и поэты.

Перед его слабо освещенным входом Валентин Валентинович задержался:

— Эклер! Много сладкого, жирного крема. Ты любишь крем? Или предпочитаешь что-нибудь другое? Мороженое, например? Или что-нибудь попроще?! Неудачное название. Но здесь ты убедишься, что содержание не всегда соответствует форме.

По крутой каменной лестнице они спустились в низкое, тесное, прокуренное помещение со сводчатыми потолками. За маленькими столиками чудом умещались кучи людей. На возвышении, заменявшем эстраду, молодой человек небрежно и виртуозно перебирал клавиши пианино.

Пробираясь между тесно стоящими столиками, Юра поздоровался с Эллен и Игорем Буш, сидевшими в шумной молодой компании.

— Кто это? — спросил Валентин Валентинович, когда они наконец втиснулись между стеной и чьи-то спинами и усьелись за столик, добытый Навроцким с великим трудом.

— Знаменитая цирковая пара Эллен Буш и ее брат Игорь.

— Откуда ты ее знаешь?

— Знаком, — загадочно ответил Юра, но не удержался и добавил: — В нее втрескался Мишка Поляков.

Валентин Валентинович поднял брови.

— Смазливый мальчишка, но для такой королевы! — Он нахмурился: — Мне не нравится твой Миша Поляков.

— Мой! Я его сам терпеть не могу. А вы его хвалили, он вам о ч е н ь понравился.

Не обращая внимания на упрек, Валентин Валентинович продолжал:

— У него слишком тяжелый взгляд. Даже странно в таком юном возрасте. Я не люблю, когда на меня так смотрят.

На эстраде небритый поэт в рваных сандалиях на босу ногу, завывая, читал стихи о том, как замечательно быть дикарем, ходить по Африке нагишом, с одной только бамбуковой палкой... «И бей по голове бамбуковой палкой!», — это при встрече с врагом. «Ее тихонько оглоушь и делай с нею все, что хочешь!», — при встрече с женщиной.

— Да, мой друг, — сказал Валентин Валентинович, — мы честные труженики и, как кто-то сказал, должны стоять над схваткой.

— Это сказал Ромен Роллан.

— Молодец Ромен Роллан! Хорошо сказал! Однако... Он задумался, помахал ложечкой в чашке и с горечью заключил: — Однако некоторые, как будто неглупые, интеллигентные люди все еще в плену сословных предрассудков. Революция их ничему не научила. Я не все принимаю в нашей действительности. Больше того, я расхожусь с ней в ряде вопросов. Но, мой друг, согласись, что сословные предрассудки — это мешающее.

— О ком вы говорите?

— Понимаете, для некоторых слово «агент-заготовитель» звучит неслышно, слишком плебейски... Какой-то там агентик...

— Кто может так мыслить в наше время?

— В общем, банальная история — я влюбился.

— Без взаимности?

— Допускаю.

— Этого не может быть. Что вас смущает?

— Ну, хотя бы разница в возрасте. Мне двадцать пять, ей семнадцать.

— Мой папа старше мамы на двенадцать лет.

— Еще одно: ей надо учиться.

— Пусть учится, чему это мешает?

— Слушай, а ты о ком? — спросил Валентин Валентинович.

— О той, в которую вы влюблены.

— Кто она?

Юра с недоумением посмотрел на Валентина Валентиновича:

— Я думал, это Люда...

— Ты угадал. А как ты угадал?

— Это совсем нетрудно угадать. В нее многие влюблены.

— А она?

— Ни в кого.

— А ты в нее не влюблен?

— Был... признался Юра, — но потом надоело: снежная королева с принципами. Хорошая вообще девчонка и хорошенькая, а вот какая-то очень одинокая.

— Да? При таких родителях?

— Возможно, в родителях как раз все дело, — ответил Юра. — Они несовременны.

— В каком смысле?

— Папаша знает три языка, мамаша — два.

— Ты прав, мой друг, это чересчур.

— И при всем том, — продолжал Юра, — поразительная детскость, инфантильность. До сих пор устраивают елку, вы подумайте! И веселятся, как дети. Папаша стоит на табуретке, украшает, мамаша тай-

ком готовит подарки, утром их находят под елкой, все в диком восторге — их, видите ли, подложил Дед Мороз... Вот в такие игры они до сих пор играют, и не только на рождество, а при любом случае...

Валентин Валентинович медленно потягивал кофе, помешивая его ложечкой, задумчиво поглядывая в эл.

Взгляд его задержался на Эллен Буш.

— Красавица окружена циркачами, я их узнаю по физиономиям.

— Да, вероятно.

— Один к ней очень внимателен.

— Это ее брат.

— Нет, ведь брат — тот блондин, ты с ним поздоровался.

— Да.

— А я имею в виду шатена, видишь — такой крепкий парень. Впрочем, все они крепкие ребята. Боюсь, что шансы нашего Миши очень малы.

— Шансы... Аскет, как все они... «Любовь возможна только на общей идейной основе». Какая же может быть общая идейная основа с циркачкой? Она даже не комсомолка.

— Но ты сам сказал, что он в нее влюблен.

— Тайком, вопреки собственным убеждениям.

— Да, мой друг, — сказал Валентин Валентинович, — я уже имел случай тебе говорить: папирисы «Ира» не все, что осталось от старого мира. Остались страсти человеческие... Он поднял палец: — Извечные, непреходящие страсти; важно не быть их рабом... Я должен работать, должен делать свое будущее, но и мне хочется спокойствия, уюта, заботливой женской руки. С тринадцати лет я зарабатываю свой кусок хлеба, я пережил мировую войну, гражданскую, потерял родителей, меня швыряло, к м шепку, я устал. Но, — он развел руками, — в этой семье несколько поколений носили форменные инженерные фуражки. А я? Я простой агентик. У меня даже нет родословной. У лошадей есть родословная, а у меня нет. Какая родословная может быть у агентика? Он возникает из ничего, с н а б ж а е т! Разве порядочные родители отдадут свою дочь человеку, возникшему из ничего?

Юра пожал плечами.

— Родители? Кто с этим считает?

— Я считаю! — воскликнул Валентин Валентинович. — Я в этом смысле консерватор. Я хочу не семейных раздоров, а семейного согласия.

— Ольга Дмитриевна к вам благоклонна, мне кажется, благодарна за тот случай во дворе. Она добрая и делит людей только на хороших и плохих. Середины нет. Вас она, наверняка, относит к хорошим.

— Она — возможно. А Николай Львович?

— Да, перед ним как-то робеешь, и все равно Ольга Дмитриевна главная. А Люда еще главнее.

— Да, все сложно, очень сложно, — задумчиво проговорил Валентин Валентинович, — и все же... И все же ты меня обнадежил. Да, да, представь себе: ты меня обнадежил.

— Что же, — сказал Юра, — мне это очень приятно слышать.

— И я тебе скажу, чем ты меня обнадежил, — продолжал Валентин Валентинович, — но прежде всего извини меня, не обижайся, я решительно не разделяю твоей иронии.

— Иронию?

— Ты пренебрежительно отзывался о елке у Зиминых, а я, например, на этом вырос, мой друг. Елка — это мое детство. У меня сердце защемило, когда ты заговорил об этом.

— Вы меня не так поняли, — попытался оправдать-ся Юра. — Когда-то и у нас устраивалась елка, но

мы с Людой уже выросли из этого, а ее родители тем более.

— Нет, мой дорогой,— покачал головой Валентин Валентинович,— не надо кривить душой; в данном случае ты поддался нашему прозрачному времени: елки нынче не в моде. Ты не устоял перед этим, а Зиминцы устояли, и это вызывает еще большую симпатию к ним и уважение, если хочешь.

— И мне они нравятся... Я просто хотел...

— Украшают елку,— перебил его Валентин Валентинович.— Это так прекрасно, так человечно. Игрушки — это чудесно! Ты ходишь со мной на бега — неужели только ради выигрыша?

— Ну, что вы! — Возмущение Юры прозвучало не слишком натурально.

— Меня на бегах привлекает прежде всего зрелище. Люблю лошадей, их berl.— продолжал Валентин Валентинович.— Тотализатор для меня не деньги, а именно игра, азарт, риск, рад выигрышу, самому пустяковому... И подарки под елкой грошовые — а сколько радости! Сюрприз, неожиданность, знак внимания...

Завявающего про Африку поэта сменил другой, в рубаше навыпуск, в лаптях, онучах; читал что-то про дерево, тихо, задумчиво. Что именно читал, слышно не было.

Валентин Валентинович пристально посмотрел на Юру.

— Можешь оказать мне услугу?

— Какую?

— Так друзьям не отвечают. Если друг просит оказать услугу, ему отвечают: пожалуйста, любя!

— Пожалуйста, любя,— улыбаясь, повторил Юра.

Валентин Валентинович вынул из внутреннего кармана пиджака плоскую коробку, обтянутую сафьяном. В ее углублениях блестяли инструменты для маникюра: ножнички, щипчики, пилочки.

Любуясь набором, Валентин Валентинович сказал:

— Из Парижа, последнее достижение косметической техники. Хочу презентовать Ольге Дмитриевне. Но как это сделать?

— Подарите.

Валентин Валентинович поморщился.

— Это невозможно: она не возьмет. Нужно именно то, о чем мы с тобой говорили,— игра, веселая игра, в этом весь смысл. Нужен сюрприз, что-то таинственное, загадочное. Ты бываешь у них, положи это незаметно на трельж Ольге Дмитриевне.

— Я! — Юра был поражен.— Это невозможно...

— Почему?

— Я редко бываю у Люды, и всегда кто-то есть дома, хотя бы та же Люда. Как я пройду в спальню к Ольге Дмитриевне? Проще попросить Люду.

— Нет,— разочарованно протянул Валентин Валентинович.— Люда откажется так же, как и ее мама... И потом тернется игра, пропадет эффект... Он вдруг оживился.— Слушай! Я видел, как мальчишки лазают по пожарной лестнице, она как раз возле окон Зиминных. Днем квартира пуста. Николай Львович на работе, Люда и Андрей в школе, Ольга Дмитриевна уходит в магазин, на базар, в парикмахерскую. В общем, можно выбрать время... Подняться по лестнице, влезть в окно, положить коробку. А?

— Прекрасный план,— согласился Юра,— но кто его осуществит?

— Как кто? Ты!

— Я! — Юра совсем ошел.— Но днем я тоже в школе или на фабрике.

— Ты трусишь! Боишься подняться по лестнице. Сегодня на моих глазах Миша Поляков поднялся на

крышу, да еще с шестью в руках, с проволок для антенны на шее. Вот в чем их преимущество — они знают, чего хотят, и добиваются своего. Ты боишься Витку Бурова, а он нет. Он защитил бедного Андрея, а ты не двинулся с места. И ты надеешься выиграть у них жизнь... Нет, мой дорогой, ты ее проиграешь, будешь в итоге плясать под их дудку, потому что сила у них, а не у тебя.

— Я тысячу раз поднимался по этой лестнице,— соврал Юра,— но я не могу уйти из школы.

— Ты ничего не хочешь для меня сделать, — горечью произнес Валентин Валентинович.— Прекрасно, так и отметим. Очень хорошо, прекрасно. Я сам залезу в окно и положу набор.

— На глазах у всего дома?

— Я влюблен и готов на любые сумасбродства,— капризно проговорил Валентин Валентинович.— Я хочу вписаться в стиль этой семьи. Этот стиль — добрая и хорошая игра.

Эллен и циркачи поднялись и направились к выходу.

Валентин Валентинович проводил ее задумчивым взглядом и сказал:

— Ради нее Миша залез бы на Эйфелеву башню.

— Вы глубоко ошибаетесь в Мише и когда-нибудь в этом убедитесь.

— Что ты имеешь в виду? — настороженно спросил Валентин Валентинович.

— Ничего конкретного... Вы сами только что сказали, что он вам не нравится, а теперь перевозносите его.

— Во всяком случае, будь он моим другом, он бы мне не отказал, поднялся бы по лестнице и положил набор.

— Может быть, попросит кого-нибудь из ребят во дворе? — предложил Юра.

— Довериться Витке Бурову? Показать ему дорогу в квартиру Зиминных? Ты отдашь себе отчет в том, что говоришь!

— Но я ищю вариант,— ответил Юра.

Валентин Валентинович ударил себя ладонью по лбу.

— Эврика! Ты говорил, что в школе вы храните свои вещи в ящиках.

— Да, в таких клетках.

— В коридоре?

— В коридоре.

— Значит, в клетке лежит и портфель Люды?

— Да.

— А в портфеле ключи от квартиры?

Залезть в чужую клетку, взять ключи, войти в чужую квартиру — нет, на это он не пойдет, ни за что!

— Я не понимаю.

— Боже мой, так просто,— нетерпеливо продолжал Валентин Валентинович.— Возьмешь ключи, передашь мне, я за час все сделаю, положу набор, верну тебе ключи, ты их положишь обратно в портфель, и решена проблема.

Юра облегченно вздохнул: в чужую квартиру ему входить не придется... И все же — воровать ключи... В коридоре всегда кто-то есть.

— А что будет потом? Ведь Зиминцы будут выяснять, как к ним попал набор?

— Ну, это уже пустяки! Для полной ясности я привяжу к коробке два цветка. Зиминцы все поймут, у них есть чувство юмора, чувство игры. И они не будут выяснять, как и каким образом он попал к ним.

— А если все же будут?

— Тогда мое разоблачение неизбежно,— весело объявил Валентин Валентинович.

— И что тогда?

— Вот тогда я скажу, что взобрался по пожарной лестнице. Это будет выглядеть очень весело и романтично. И расположит ко мне и Люду и Ольгу Дмитриевну. И, возможно, тронет черствое сердце Николая Львовича.

14

«**О**ткрыть чужой портфель, взять ключи от чужой квартиры...

Дурацкая затея, idiotская причуда... К чему! Люда не выйдет за него замуж, даже если он поселится на этой пожарной лестнице. «Влюблен, способен на сумасбродства, игра...» Странно слышать это от такого человека! Кретинызм, соли, сантименты! А может быть, и не сантименты? И нет особой влюбленности? Нужна не Люда, а Николай Львович, нужна не жена, а мануфактура. Кто он такой, в сущности? Ординарный снабженец, несмотря на лоск, шик, респектабельность; плетей, хотя и произносит это слово с иронией, «Сюрприз»—словечко из Замосквореция. Принеси! Сморозь какую-нибудь банальность—для явчих прелестных пальчиков, Ольга Дмитриевна! Ведь не бриллиантовое кольцо дарит. Копеечная коробка с бижутериями и пилочками. У его, Юриной, мамы десяток таких ножничек, щипчиков и пилочек. И нечего устраивать весь этот спектакль».

Так размышлял Юра, сидя за письменной работой в кабинете литературы. Блистающее майское солнце слепило глаза, тишина класса усыпляла, поскрипывали перья, шелестели перелистываемые страницы.

Генка с шумом отодвинул стул, собрал тетради и пересел на другое место.

— Ты что, Петров?—спросил преподаватель.

— Не хочу сидеть рядом с Зиминой.

— Почему?

— А вы, Виктор Григорьевич, сядьте с ней, тогда узнаете.

Виктор Григорьевич сел рядом с Людой.

— Духи как будто чудесно пахнут.

— Да, чудесно, всю школу провоняла своими духами.

— Если тебя раздражает запах духов, сиди, где хочешь,—сказал Виктор Григорьевич.

— И потом, Виктор Григорьевич, я хочу переменить тему.

— Какая у тебя тема?

— Крестьянство в изображении Тургенева.

— А тебе не нравится? Почему?

— Крестьянство надо изучать не у крепостника Тургенева.

— Тургенев был против крепостного права,—заметила Зина Круглова.

— Все равно! Литература должна объяснять историю с правильных идейных позиций.

— Литература не объясняет историю, а воспитывает человека,—сказала Зина Круглова.

— Сейчас не диспут,—сказал Виктор Григорьевич,—занимайтесь! Тема за тобой, Петров. Можешь изложить в ней свою точку зрения.

Тишина вернула Юру к его горестным мыслям, к истории, в которую он так глупо влип. Приближалась перемена, а ровно в одиннадцать он должен вынести Валентину ключи.

Надо было сразу отказаться. Категорически, не мямлить, не канючить. В глазах у всей школы от-

крыть чужой портфель, взять ключи—он что, с ума сошел или его считают круглым идиотом?

Не выходить! Сказать потом, что были запреты двери. Или выйти, но объявить, что в коридоре были ребята и он не смог взять ключей. Или еще лучше: портфеля не было в клетке, Люда звала его в класс. Мысли!.. Впрочем, Валентин наверняка скажет:

«Хорошо, сделай это завтра».

Нет, нет, нет! В такую авантюру он не ввязается. Вышибут из школы. За месяц до окончания, спасибо! Конечно, если он попадется, можно наврать, что он хотел положить Люде в портфель записку, Люда выругит, подтвердит... И все же надо объясняться, оправдываться; они будут сидеть на учком с каменными лицами, будут допрашивать, выпытывать, читать нотации... Даже если в школе все сойдет благополучно, то неизвестно, как получится у Валентина. Войдет в дом, а тут явится Ольга Дмитриевна. Не поверит же она, что он влез в окно по пожарной лестнице.

Прозвенел звонок. Юра вышел в коридор, посмотрел на клетки.

Клетками назывались стеллажи, разделенные на открытые ящики, над каждым—бумажка с фамилией владельца. Сюда складывали книги, тетради, чертежи, личные вещи—клетки неприкосновенны, взять что-либо, даже заглянуть в чужую клетку считалось преступлением.

Юра подошел к своему ящику, сделал вид, что перерывает там что-то, взглядом примерился к клетке Люды: достаточно протянуть руку, чтобы взять ее портфель.

Портфель приоткрыт. Люда не защелкнула его, просто втиснула в ящик.

По коридору бегали ребята, толпились у кооператива—столика, на котором разложены тетрадки, карандаши, ручки, чернильницы, линейки, циркули, транспортиры, стиральные резинки.

Один из школьных анахронизмов, которые так презирал Юра,—кооператив сохранился с донцовских времен, когда тетради и карандаши добывались с трудом и распределялись учком среди учеников.

Теперь все можно купить в любом магазине в большом выборе, хоть и на копейку-две дороже. Но кооператив остался: не надо, видите ли, покупать у изпманов и тем поддерживать частный капитал, а главное—традиция, которую надо сохранить во всей ее чистоте и неприкосновенности.

Как надоело! Одно и то же из года в год, из класса в класс. Такие нелепости! Валентин затевает глупую историю, но в ней хотя бы проглядывается личность, индивидуальность; он не боится войти в чужую квартиру, положить набор; он вырос в другое время—в то далекое время устраивали маскарары, шутили, мистифицировали и ничего не боялись. Почему же он, Юра, должен жить по чуждым ему законам? На диспуте он декларировал свою независимость, свое желание быть самим собой. Вот он и будет самим собой.

Его приятель влюблен, хочет сделать подарок, делает в не совсем обычной шутильной форме, что предосудительно!

Прозвенел звонок. Все потянулись в классы и кабинеты. Коридор опустел. Юра вынул из клетки портфель, открыл, вытащил ключи, один большой, другой маленький для французского замка, положил в карман, поставил портфель в ящик и спустился по лестнице.

На первом этаже, у вешалки, он столкнулся с Сашей Панкратовым.

— Ты куда? — спросил Саша. На рукаве у него была красная повязка — знак дежурного по школе.

В другой ситуации Юра не обратил бы внимания на эту мелочь, хотя и с красной повязкой из рукава.

Но страх, волнение еще не прошли, и он растерянно пробормотал:

— Я выйду на минутку, отдам отцу ключ от квартиры, свой он потерял. Сейчас вернусь.
Валентин Валентинович уже ожидал его, Юра передал ключи.

— Когда у вас обед?

— С двенадцати до часа.

— Без четверти час я верну ключи.

— Только не опоздайте, а то двери закроют.

— Не беспокойся; может быть, приду и раньше.

— Это было бы очень хорошо.

— Пока!

— Пока!

В дверях стоял Саша Панкратов. Идиот!

— Ты чего здесь торчишь?!

— Запереть дверь.

— Я могу это сделать сам.

Юра вошел в школу.

Саша запер дверь.

Предстояли два часа томительного ожидания. Не доделать физику, но Юра пошел в исторический, там занималась Люда: не выйдет ли она к своей клетке, вдруг потребуют портфель...

Люда конспектировала, из кабинета не выходила.

Звонок возвестил большую перемену.

Выкрикивая «Распределение! Распределение!», все высыпали в коридор и понеслись вниз по лестнице, накиннулись на закрытые двери столовой, востро стучали по ним кулаками: «Распределение — открыай!»

Яша Полонский прокричал:

Девочки-преlestницы,
Не лопайте лестницы!
Мальчишки-соколки,
Верните столыки!

Двери открылись. Расталкивая друг друга, ребята ворвались в столовую, устремились к длинным, покрытым клеенкой столам. Во главе стола — кастрюля с супом, по краям — алюминиевые миски и ложки, в середине — блюдо с ломтиками черного хлеба, его тут же расхватывали, каждый стремился получить горбушку...

Юра вышел из класса за Людой.

Люда вынула из клетки портфель, сунула в него тетрадки, положила обратно. Слава богу! Теперь возьмет его только после обеда...

Единственным украшением столовой был плакат: «Хорошо прожеванная пища идет впрок». Винзу карандашом было написано: «Что такое прок?»

Ребята стучали ложками по столу:

— Распределение — распределай!

Яша Полонский взобрался на скамейку.

Перестаньте шуметь!
Воскресьте разговорять!
Пиду надо переваривать.
Тише эти, ша — и те!
Вы жевать мешаете!

Дежурные в халатах разливали суп по мискам. Большим кухонным ножом разрезали на противне блинчатый пирог.

— Что это такое? — Юра брезгливо ткнул вилкой пирог.

— Блинчатый пирог.

— Где же мясо?

— Он с кашей.

Юра отодвинул миску.

— Дрянь, завернутая в гадость!

— Ты, наверно, лебеду пополам с соломой не по-пал? — спросил Генка.

— Извини, не ел ни соломы, ни сена.

— Недобитый контрик! — бросил ему вслед Генка.

Ребята стучали ложками по столу:

— Добавки! Добавки!

Миша окликнул Шныру и Фургона:

— Панфилов! Зими!

Они подошли.

— Ведь вы знали, что финка не моя, а Визьчина. Почему молчали?

И на этот раз Шныра и Фургон молчали. Что они могли сказать?

— Непонятно, в какие игры вы с ним играете? — сказал Генка. — Он вдвое старше вас. Пируете вместе. На какие деньги? Воруете?

— А ты видел? — осмелел Шныра.

— Трусоеды вы несчастные, — сказал Миша, — еще раз продадите вот так вот, мы с вами такое сделаем — пух полетит. А теперь катитесь!

Шныра и Фургон поспешили это сделать.

— Зря ты их так отпустил, — сказал Генка.

— В угол поставить?

— Гнать из школы к чертовой матери!

— Всех поимкочаем, один Генка останется, — усмехнулся Миша.

15

Юра вышел на улицу. Валентина не было. Правда, еще только половина первого, но все равно Юра нервничал.

Вышла из школы Люда с девочками, ребята помчались на спортплощадку, Миша и Генка присоединились к тем, кто играл в итальянскую лапу.

Юра посмотрел на часы. Черт возьми! Без четверти час.

Люда прохаживалась по двору с подругой. Юра не спускал с нее глаз: если она попытается вернуться в школу, он во что бы то ни стало задержит ее до прихода Валентина, оставит с Валентином и в это время положит ключи.

Валентин Валентинович появился без десяти час.

Юра пошел ему навстречу.

— Ну как?

— Все в порядке, — весело ответил Валентин Валентинович.

— Если можно, задержите на несколько минут Люду.

— Это нужно?

— Нужно.

Валентин Валентинович подошел к Люде, поздоровался, познакомился с подругой...

Юра вошел в школу, поднялся по лестнице, коридор был пуст, вложил ключи в портфель Люды, запер портфель на место.

Страхи его казались теперь смешными. Идиот, психопат, истерик, паникер.

Как весело и уверенно держался Валентин Валентинович! Да, человек...

На последнем уроке Миша объявил, что сегодня заседание учкома. Все члены учкома обязаны явиться; могут остаться и желающие.

Юра не был ни членом учкома, ни желающим остаться. Но после занятий, собирая книги у своей

клетки, он услышал, как один паренек сказал другому:

— Я останусь на учкоме.

— А что будет?

— Кто-то у кого-то чего-то спер из клетки.

Юра похолодел. Впрочем, если о нем, то почему его не вызвали?

К клеткам подошли Миша с Генкой.

Миша как-то странно посмотрел на Юра, а Генка сказал:

— Между прочим, и тебе не мешает остаться на учкоме.

— Зачем? — с замирающим сердцем спросил Юра: боялся, что сейчас он услышит про портфель.

Но Генка сказал только:

— И тебя касается.

Юра пожал плечами.

— Не понимаю...

— Там поймешь!

В красном уголке было душно, набилось много ребят. Тянуло на улицу.

Миша поторопил Генку:

— Давай, что у тебя, только покороче!

— Диспут о мещанстве ничего не дел, — сказал Генка, — обывательщина нас захлестывает, отрицательные явления множатся. Известный всем Витяка Буров, воровская кличка Альфонс Доде, продолжает разлагать младшеклассников, а мы никак не реагируем. Есть и другие факты, совсем свежие, — он посмотрел на Юру, — но о них потом...

Ждать, томиться два часа, пока дойдут до него? Нет, пусть уж сразу!

— Почему потом? Говори сейчас! — сказал Юра.

— Успешно! Так вот, продолжаю, — Генка вынул из сумки тетрадь в коленкором переплете. — Сейчас я прочитаю стихи, которые пишут учащиеся шестого класса — кстати, пионеры!... — Генка перелистал тетрадь. — Вот: «Розы тогда расцветали и пели тогда соловьи, когда мы друг друга узнали, то были счастливые дни». Дальше! «Пускай другую ты ласкаешь, такую гордую, как я, но, может, счастье потеряешь и вспомнишь обо мне тогда». Это пишет ученица советской школы и пионерка. — Генка перевернул еще несколько страниц. — «Ты не знаешь, что я тайно страдаю, ты не знаешь, что я тайно люблю, к тебе подойти я не смею, люблю, но сказать не могу»... А вот еще: «Вспомни минувшие годы, вспомни минувшие дни, вспомни денек тот веселый, когда познакомились мы». Мало? Пожалуйста! «Не плачь, когда крылом могучим твой горизонт тоска затмит, не верь ты этим грозным тучам, за ними слышно блестя». И рисунок, смотрите!

В тетради было аккуратно нарисовано сердце, пронзенное стрелой, с его острия капала кровь.

— Зоя Новикова, это твои стихи? Ты их сочинила?

— Я их не сочинила, а переписала, — ответила Зоя Новикова — хорошенькая девочка с падающей на лоб челкой.

— У кого?

— Не скажу.

— Как так не скажешь?

— Так, не скажу.

— Мы хотим знать, кто в школе распространяет эту пошлость.

— А я все равно не скажу.

— Значит, ты укрываешь пошляков и мещан и сама мещанка.

— Я не мещанка, просто у меня было плохое настроение, и я переписала.

— Плохое настроение? — поразился Генка. — Но ведь ты пионерка! Разве у тебя может быть плохое настроение?

— А когда ты получаешь «неуд», у тебя хорошее настроение! — спросила Зина Круглова.

— Я комсомолец, и у меня всегда хорошее настроение.

— Брось губами шлепать! — сказал Яша Полонский.

— Генка, откуда у тебя эта тетрадь? — спросил Миша.

— Это не имеет значения.

— Зоя, ты давала Генке тетрадь?

— Нет! Ее вытащили из моей клетки. Кто вытащил, не знаю, хотя подозреваю.

Юра на минуту воспрянул — вот, оказывается, о чем речь!

— Кого подозреваешь? — спросил Миша.

— Не скажу, — ответила Зоя Новикова.

— Но ты утверждаешь, что тетрадь вытащили из клетки, настаиваешь на этом?

— Утверждаю и настаиваю.

— Подумай, вспомни: может быть, ты кому-нибудь ее давала?

— Никому не давала, ее у меня вытащили из клетки.

Каждый раз, когда произносилось слово «клетка», Юру словно обжигало, точно говорили о нем самом... Может быть, еще заговорят. Наверно, заговорят. Их манера! Сначала накалят атмосферу этим случаем, а потом перейдут к нему. Если за то, что вытащили стихи, объявят выговор, то за ключи... Тут они разыграются.

Дело принимало серьезный оборот.

Генка сказал:

— Тетрадь мне дала Лара Усова.

— Так я и знала! — торжествующе объявила Зоя. Все смотрели на Лару, чернявую девочку с узко поставленными глазами.

— Как к тебе попала эта тетрадь?

Опустив глаза, Лара молчала.

— Ты мне сказала, что ее тебе дала Зоя, так? — сказал Генка.

Лара молчала.

— Украла?

— Я случайно, по ошибке, — прошептала Лара, — наши клетки рядом.

— Почему обратно не положила?

Лара молчала.

— Зачем Генке отдала?

Лара метнула на Генку узкий взгляд, но ничего не ответила.

— Нет, скажи! — потребовал Генка. — Я что, просил тебя? Ответай! Ведь ты сама подошла ко мне и сказала: вот Зоя сочинила стихи, почитай для стенгазеты... Так ты сказала или нет? Ответай!

Лара молчала.

Генка вскипел:

— Мало того, что крадешь! Ты еще и обманываешь.

Лара начала всхлипать.

— Реви, реви громче! — сказал Генка. — Преступники всегда режут, как белуги, что помогает.

— Черт возьми, — с тоской думал Юра, — скорее бы они кончили с этим!.

— Что решишь? — спросил Миша.

— Ларе бойкот на семь дней, — предложила Зина.

— А Генке!

— Мне за что? — поразился Генка.

— Читаешь чужие дневники.

— Нет, погоди, — заволашевался Генка, — нельзя, знаешь, так, 'за здорово живешь... 'Что Генке?'

В чем мое преступление? — Повторю: читаешь чужие дневники.

— Но ведь мне его дали, сказали: посмотри для стеногазеты. Я не знал, что его украл. Думал: Зоя всем дает читать свои стихи, дала Ларе, Лара дала мне.

— Прежде чем выносить стихи на обсуждение, ты должен был спросить у Зои: это ее собственный, личный дневник?

— Что значит личный? — возразил Генка. — А если бы там было написано, что Зоя знает о каком-то преступлении или даже участвовала в преступлении, то и тогда я должен молча вернуть ей дневник, и все! Нет, я это понимаю по-другому.

— Демагогия! — рассердился Миша. — Стихи плохие, но ничего преступного в них нет. А вот выкрасить из чужой клетки — преступление. Вынести их на учком — способствовать преступлению.

— Но ведь я не знал, что их выкрали! — закричал несчастный Генка. — Я хотел как лучше. Должны мы бороться с мещанством или нет?

— Генка совершил ошибку, поступил незрительно, но его не за что наказывать, — сказала Зина Круглова. Обращаясь к Зое, Яша Полонский продекламировал:

Милая, кроткая нежная,
Вся воплощенные мечты,
Нравится мне твоя муза унылая,
Только вот Генке не нравиться ты!

— Ладно, — сказал Миша, — я не настаиваю на признании Генке, но пусть будет осматрительнее. Что у тебя есть, Генка?

— Еще... Вот случай, не далее как сегодня...

Юра напрягся — это, конечно, о нем.

— Не далее как сегодня, за обедом, Юра не стал есть пирог — больше того, назвал его дрянью, завернутой в гадость. И это в то время, когда страна только выходит из голода и разрухи, когда миллионы людей в Поволжье и других краях недоостает куска хлеба. Такое заявление — возмутительное барство, нетерпимое в нашей среде!

Теперь все смотрели на Юру.

— И за этим вы меня вызвали? — спросил Юра, еще не веря тому, что все оказалось такой ерундой.

— Тебя не вызывали, а посоветовали прийти.

— И больше вам нечего сказать?

— Кому это а м? — спросил Миша. — Ты что, отдаешь себя от а с?

— Знаешь, Миша, могу ответить тебе твоими же словами: не надо демагогии! Генка, больше ты ничего не хочешь мне сказать?

— Этого тебе мало?

— Тогда всеобщий привет!

Юра махнул рукой и вышел.

— Вот, пожалуйста, — сказал Генка, — демонстративно покинул заседание учкома. Так оставлять нельзя.

Зина Круглова предложила:

— Выговор ему за барство, за игнорирование учкома.

— Голосую, — сказал Миша.

Все подняли руки.

Ободренный тем, что в этом случае он оказался прав, Генка деловито спросил:

— Что будем делать с Виткой Буровой и его компанией? Может быть, передать в СПОН?

— Давайте пока ничего не решать, я попробую с ними поговорить, — сказал Миша.

— Ты уже пытался говорить с Виткой. Что получилось?

— Я попробую еще раз.

¹ СПОН — социально-правовая охрана несовершеннолетних.

Разговор с Виткой действительно не получился.

Но то, что увидел тогда Миша, внесло в его представления существенную поправку: Витка защищал мать от пьяного отца.

После учкома, вечером, Миша отправился к Белке. По узкой лестнице с выщербленными цементными ступенями спустился в подвал, открыл дверь с ободранной обшивкой из грязной мешковины и очутился в темном коридоре со скользкими стенами, пропитанном гнилыми запахами сырой штукатурки, нищего жилья, вонючего тряпья, подгоревшего подсолнечного масла.

Комната тоже была сырой, полутемной, с голыми стенами, низкими, сводчатыми потолками, придававшими ей вид кельи.

Под потолком тускло серел маленький прямоугольный окна, выходящий в яму, прикрытую со двора металлической решеткой.

На постели, застланной тряпьем, сидела тетка или бабушка Белки — нищая старуха, побирущка. За квадратным, грубым, голым столом сидела на табурете Белка.

Табурет был единственным. Миша стал, прислонившись к косяку двери.

Белка исподлобья посмотрела на него и отвернулась.

Старуха, бормоча, перебирала тряпье на кровати.

— Слушай, Белка! — сказал Миша. — Как твоё настоящее имя?

— Белка! — вызывающе ответила девочка.

Миша повернулся к старухе.

— Как ее зовут?

— Кто знает, — пробормотала та, перебирая тряпье, — приبلудная девочка. Подобрала на вокзале, в голод еще, вот и живет. Как крестили, не знаю. Во дворе Белкой кличут.

— Почему в школу не ходишь?

— Не хочу и не хожу.

— А если в колонию отправят?

— Убегу.

— Брали ее, — сказала старуха, — убежала, откуда хоще убежит, верткая.

Стоял пуст, никаких следов еды, даже посуды не было — ни стакана, ни кастрюли, ни чайника.

— На что живете?

— А что люди добрые дадут, на то и живем.

И Белка вон кормит, не обижает, спасибо!

— А ты где достаешь? — спросил Миша у Белки.

— Где надо, там достаю.

— Можно понапастся.

Болтая ногами, Белка запела:

Что вы советы мне даете, словно маленькой,
Ведь для меня давно решен уже вопрос.
Оставьте, папёныня, ведь мы решили с мамёной,
Что злым мужем будет с Балтиной матрос.
Ах, сколько жизни он вложил в свою походочку,
Все говорили, что он славный морщочек,
Когда он шел, его качало, словно лодочку.
И этим самым он закидывал крышечку,
Всегда весна, цвела сирень и пели пташечки...

Она оборвала песню:

— Ты зачем пришел?

— В гости.

— Погулять со мной хочешь? Деньги у тебя есть?

— Денег у меня нет.

— А на кино у тебя хватит?

- На кино, пожалуй, хватит.
- Тоже, клоуны вышли!
- Чем не клоуны?
- Легавый — вот ты кто!
- Так уж легавый?
- Легавый! — повторила Белка, не меняя позы, — сидела спиной к Мише, подперев подбородок ладошью.

— Я не хочу, чтобы тебя посадили в тюрьму.
 — Мне и в тюрьме хорошо — там кормят.
 — В колонии тоже кормят, а ты убежала. А из тюрьмы не убежишь: четыре стены, решетка.
 — А за что в тюрьму, что я сделала?
 — Сама знаешь.
 — Знаю, а не скажу.
 — А я тебе скажу: буфет в кино обворовала. Белка ничего не ответила.
 — Ты думала, никто не знает. А я знаю.
 — Ну и знай!
 — Посадишь в тюрьму, и тебе будет плохо, и бабушка твоя с голоду померет. Тебе сколько лет?

— Нисколько.
 — Четырнадцать лет записано, — сказала старуха.
 — Записано... — усмехнулась Белка. — Где то?
 — В домоуправлении, а как же.
 — Хочешь, на фабрику устрою? — предложила Миша.

— Чего-чего? — насмешливо переспросила Белка.
 — На фабрику устрою, на работу. Получишь специальность, зарплату, оденешься; плохо разве?
 — Все лучше, чем с жульем-то возиться, — сказала старуха. — Ты послушай, что человек говорит. Белка молчала.
 — Платок бы купила, ботинки, — добавляла старуха. — Зимой босиком не побежишь. Сахару бы поела.

Белка опять затянула тонким голоском:

Была весна, цвела сирень и леди птички:
 Братиска с Балтиги сумел кой-что заплести.
 Ему понравилась красивая Наташенька,
 Такой кусочек не хотел он пропустить...

— Я поговорю на фабрике, — сказал Миша.
 — Сам работай, если тебе надо!

17

Опять был фабричный день. После смены Миша пошел к Зимину.

Года два назад Миша был у Люды на дне рождения. Мама Люды держалась с ребятами, как товарищ, пела смешные куплеты, пародии, затеяла шарады, потом она и Николай Львович играли с ними в слова: из одного слова составляли другие, новое слово не меньше, чем из четырех букв. Затем Ольга Дмитриевна ушла на кухню, нажарила там гору блинчиков, очень вкусных, ребята всю эту гору умяли моментально. Потом Ольга Дмитриевна и Николай Львович ушли в кино. Ольга Дмитриевна сказала, что они уходят, чтобы не мешать, и звали ребят приходить, сказала, что это ее личная просьба — она обожает играть в слова, а Люда с ней не играет, важничает, потому что всегда ее обыгрывает. Она много смеялась, и ребята смеялись, и Николай Львович. У Николая Львовича было тогда совсем другое лицо, Миша даже не узнал его, когда встретил на фабрике. Два года назад, на дне рождения, это было лицо легкое, доброе, даже молодое и даже красивое, хотя с этим понятием — красота — Миша

здорово путался, вообще считал эту проблему преувеличенной, тем более что единое мнение тут невозможно: даже насчет Аполлона и особенно Венеры еще можно здорово поспорить. В школе, например, все считали Люду Зимину очень хорошенькой, самсы хорошенькой. Миша недоумевал. Ее мать, на которую, кстати, Люда была очень похожа, действительно была красивой, прежде всего потому, что была веселой.

Люда веселой никогда не была. Наоборот, она была какой-то замороженной: наверно, думала, что это ей больше идет. Таким же несколько надменным и недоступным держался на фабрике и Николай Львович.

Как Люда в школе, так и Николай Львович на фабрике был одинок, старомодный, в своем хорошо выжужженном костюме, чужой в новом мире, буржуазный спец, терпимый потому, что нет своих спецов.

На собраниях его часто ругали. Всех ругали — много неполадок на фабрике, — но Зимина ругали сдержанно, не как своего, а как чужого. Он выходил на трибуну и отвечал чересчур спокойно, обстоятельно.

...Зимин поднял голову и посмотрел на вошедшего в кабинет Мишу.

— Николай Львович! — Миша подошел к столу. — Нельзя ли принять на фабрику одну девочку и одного мальчика, ей четырнадцать лет, а мальчику, наверно, пятнадцать?

— Садитесь!

Миша сел на стул возле стола.

— В школе они не учатся, пусть хоть работают.
 — Я не занимаюсь наймом и увольнением, — ответил Зимин, — это решает директор. Обратитесь к нему... Насколько мне известно, брешь подростков заполнена.

— Безнадзорные ребята...

— Да, да, понимаю, — проговорил Николай Львович, собирая бумаги в папки и раскладывая их по ящикам стола, — но брешь есть брешь, выйти за ее пределы мы не можем. И потом — мальчик? На фабрике работают женщины, и брешь подростков — девочки.

— Ну, хотя бы девочку, — настаивал Миша, — она сирота, убежала из колонии.

— А с фабрики не убежит?

Вопрос был задан рассеянно, равнодушно, из вежливости, для поддержания разговора, чтобы что-нибудь сказать. Николай Львович был озабочен своими бумагами, сложил их наконец в стол, запер ящики на замок и поднялся, давая понять, что разговор окончен. Рабочий день тоже, между прочим, окончен.

— Пропадет девочка, жалко, — сказал Миша. — Рядом Смоленский рынок, Проточный переулок, ворье, жулики...

Николай Львович снял с вешалки плащ, взял в руку ведро.

— Вам следует поговорить с директором, хотя, боюсь, он ничего не сумеет сделать до нового набора; набор, повторю, будет в сентябре. Я, со своей стороны, поддержу вашу просьбу. Вы надеетесь, что это ей поможет?

Он открыл дверь кабинета, приглашая Мишу выйти, и вышел вслед за ним.

Итак, он согласился помочь и, следовательно, помог. Но, черт возьми, в какой форме! И что толку от его обещаний! «Я поддержу вашу просьбу, но директор все равно ничего не сумеет сделать до нового набора», Ироническое «А с фабрики не убежит?» — и тут же равнодушно-вежливое «Вы наде-



тес, что это поможет?» Странная постановка вопроса! Да, Миша надеется, что поможет; не надеялся — не пришел бы, не просил бы! А вы, значит, нет, не надеетесь; тогда зачем обещаете помочь? Вам безразлично. Вот именно, скорее всего безразлично...

С неожиданной жесткостью, которая иногда находила на него и о которой он потом часто жалел, Миша сказал:

— Эта девочка в плохой компании. Между прочим, в этой плохой компании и ваш Андрей.

Они стояли в коридоре. Рядом грохотал сновальный цех, виднелись станки, бесконечные нити тянулись с больших катушек на малые, работницы внимательно следили за ними; когда нить обрывалась, работница останавливала станок, быстро связывала нить мелким узлом, почти невидимым.

— Андрей?

Он кивнул в сторону цеха, показывая, что шум мешает разговаривать.

По узкой металлической лестнице с железными перилами они спустились во двор.

— Андрей? Малыш? В компании? Может быть, он играет в компанию?

— Я сказал вам об этом потому, что считаю это достаточно серьезным.

— И что за компания? Расскажите, Миша.

— У нас во дворе... Андрей, еще два мальчика, девочка Белка, о которой я вас просил, главарь — Витка Буров, тоже живет в нашем доме.

— Жена говорит, что Витка издевался над Андреем, бил его, чуть не зарезал, если бы вы не вмешались тогда.

— Он его, конечно, не собирался резать. Он главарь, чинит расправу над подчиненными. Ничему хорошему он Андрея не научит, а Андрей бегае за ним, как собачка.

Они шли к проходной, их обгоняли работницы, окончившие смену.

— Я целый день на работе, Андреем занимается мать,— сказал Николай Львович,— но я, конечно, приму меры... Так странно—Андрей в воровской компании. Спасибо, что вы предупредили меня, я вам очень признателен... Какой скрытный, дурачок, дома — ни звука... Но раз уж речь зашла о моей семье, то у меня к вам еще вопрос: что произошло у Люды в школе?

— У Люды в школе?.. Как будто ничего, во всяком случае, я ничего не знаю.

— Что-то произошло. После вашей живой газеты она пришла домой сама не своя. Плакала.

— Странно,— пробормотал Миша,— а там громче всех смеялась.

— Это делает ей честь,— сказал Николай Львович.— Дома она не смеялась, да и сейчас не смеется. В чем же дело? Я прекрасно понимаю: и справедливую критику трудно воспринимать спокойно, а несправедливую? Да к тому же публичную, со сцены и, по-видимому, достаточно окаринатуренную... В вашей школе нет предубеждения против детей из интеллигентных семей?

— Нет, мы никого не разделяем по социальному признаку. В той же живой газете прохвалили и детей рабочих—Генку Петрова, например, того же Витку Бурова. Люда зря обиделась. Там про нее спели очень невинные куплеты. Я не помню текста, что-то в стиле оперетты.

— Значит, моя дочь не поклонница этого жанра. Благодарю вас. Не хотелось бы, чтобы Люда узнала о нашем разговоре, она будет недовольна моим вмешательством...

— Я ей ничего не скажу,— пообещал Миша. Вспышка гнева прошла, ему почему-то стало жалко Зимины.

— Спасибо, благодарю. О той девочке, вашей подопечной, я переговорю с директором.

Зимин поклонился Мише, направился в проходную, но его окликнули:

— Николай Львович!

К проходной спешил Красавцев, проткнул Зимину папку.

— Документы по браку, Николай Львович, вы просили.

— Документы? Сейчас? — удивился Зимин.— Ведь я иду домой.

— Только-только закончили,— объяснил Красавцев,— подбирали документы, как вы дали указание. Несу — вижу, вы идете. Обратное нести? У меня в отделе сотрудники уже разошлись.

Николай Львович положил папку в портфель.

— Хорошо, завтра воскресенье, я их посмотрю дома.

Зимину явно не хотелось брать документы. Красавцев не хотел возвращаться с ними в отдел. Зимин взял документы очень недовольный. Миша подумал, что мог бы и не брать.

А он взял.

Типичный мягкотелый интеллигент.

18

Дома Николая Львовича ждали билеты в Художественный театр на «Дни Турбиных». К билетам прилагался элегантный Валентин Валентинович в полосатом костюме и лаковых штблехах, задкий князь Данила, не хватает буюньерки в петлице.

Верные решению, принятому ими после возвращения Люды из ресторана, Зимини как передовые родители разрешили этот визит. Сегодня все отправлялись в театр, а с завтрашнего дня Ольга Дмитриевна начнет осторожно щупать над этим фразом и развешивать его в глазах Люды. Затем не слишком нравился Николаю Львовичу, но он согласился с женой, что из всех худших вариантов это лучший. И дай бог, этот визит последний...

Из-под полуприкрытых век он разглядывал Навроцкого: не слишком вляется с привычным типом работника снабжения — интеллигентен, корректен, держится с достоинством.

— Популярны сейчас «Лес» у Мейерхольда, «Принцесса Турандот» у Вахтангова, «Жиролфе-Жи-рофля» у Таирова,— говорил Валентин Валентинович,— но самый значительный — «Дни Турбиных» в Художественном. Я думаю, спектакль вам понравится.

— «Принцесса Турандот» мы видели недавно,— сказала Ольга Дмитриевна.— Театр Вахтангова рядом. Таирова Николай Львович не очень любит, тут мы с ним расходимся во вкусах. Что касается Мейерхольда, то это, в общем, спорно.

— Да,— согласился Валентин Валентинович,— Мейерхольд необычен, но, безусловно, оригинален, это вполне современное зрелище.

— Вот видите, а мы бегали на галерею в Художественный,— сказала Ольга Дмитриевна.

— Тем более вам должны понравиться «Дни Турбиных», — серьезно сказал Валентин Валентинович.— Спектакль поставлен Станиславским и Судакowymi, заняты Хмелев, Добронравов, Яншин. Я уже раз смотрел, с удовольствием посмотрю второй раз. Пьеса о крушении белой армии, первая попытка серьезно рассмотреть трагедию людей, веривших в правоту

своего дела. Можно принимать такое толкование, можно не принимать, но интересно бесспорно.

Не простой дедеч. Судя по манерам — из приличной семьи.

— Вы москвич? — спросил Николай Львович.

— Да, поскольку живу в Москве. Но родился я в Воронежской губернии, мой отец управлял конными заводами графа Орлова.

Прозвучало так, будто отец Валентина Валентиновича был не управляющим чьими-то заводами, а их владельцем.

Чем он нравится Люде? Ведь умная, проницательная девочка. Впрочем, он, кажется, впадает в обычную родительскую ошибку. Разве можно определить, чем он не нравится дочери? Можно только определить, чем он не нравится ему самому. Чем же? Лакированными штiblетами? Конечно, нет, не штiblетами. Все дело, безусловно, в фабрике, в эпизоде с тем вагоном, который он велел задержать и который не задержали. Возможно, Наворочий ни при чем, ему погрузили вагон, и он его отправил, и все же... Красавчик нечист на руку, и все это, вероятно, не случайно. Короче: проходимец он или нет?

Ольга Дмитриевна посмотрела на часы.

— Андрею пора быть дома. Где он, Люда?

— Во дворе, наверно.

— Надо его позвать.

Люда подошла к окну.

— Андрюша! До-о-мой!

— Тянет его во двор, — сказала Ольга Дмитриевна, — а у нас ужасный двор, один Витька Буров чего стоит.

— Двор... — улыбнулся Валентин Валентинович. — Это естественно в его возрасте. И даже, если хотите, необходимо. Двор лучше подготовит его к жизни реальной и весьма жестокой, чем... Поймите меня правильно, у меня тоже была хорошая мама, да же, может быть, чересчур хорошая, так что говорю это по собственному нелегкому опыту.

— Ваша мама жива? — спросила Ольга Дмитриевна.

— Мои родители погибли в железнодорожной катастрофе...

Неступило короткое неловкое молчание, потом Ольга Дмитриевна сказала:

— Может быть, двор и лучше подготовит его к будущей жизни, но пока не было двора, он был гораздо послушнее.

— Андрей дружит не с Витькой Буровым, а с Лейней Панфиловым, он его защищает, — сказала Люда. — Все это нормально, мамочка. Но дети — не цветы жизни...

— Как представитель Деткомиссии, я так не думаю, — сказал Валентин Валентинович. — Как представитель Деткомиссии, я просто не имею права так думать.

Все засмеялись, кроме Люды. Ей было не смешно. Зачем она затеяла все это? Он был терпим там, в ресторане, но здесь, у них в доме, этот чужой человек неестествен, банален. А намек на знатное происхождение — какая дешевка! Родители погибли в железнодорожной катастрофе — вранье. Эти тривиальности о трудностях жизни, там о Славке, здесь об Андрее.

А Николай Львович думал о том, что сказал ему Миша Поляков. Он все же не допускал, что его Андрей, толстый, неуклюжий, но добрый и, между прочим, довольно способный мальчик, растет бандитом. Вот и Люда подтверждает, что он дружит не с Витькой, а с Лейней Панфиловым, сыном кладовщика.

— Все же в чем дело с этим Витькой Буровым? — спросил он осторожно, стараясь не обеспокоить

Ольгу Дмитриевну — она так нервничала по этому поводу.

Люда молчала.

Ответила Ольга Дмитриевна:

— Дети его боятся. Если бы можно было уехать из этого дома, я бы уехала.

— Наверно, он плохо влияет на детей, — сказал Валентин Валентинович. — Мы в Деткомиссии часто сталкиваемся с такими ситуациями: один великовозрастный болван портит хороших подростков. Я со своей стороны могу вам пообещать навести там порядок. Мне, как бывшему дворовому мальчишке, это не будет особенно трудно.

Опять фальшь! Граф превращается в дворового мальчишка. Что за чушь!

— Витька — безобидный парень, — сказала Люда, — я его знаю тысячу лет. Просто он тщится избраться из себя грозу Арбата, вояку и атamana. И у нас очень хороший двор, мы в нем выросли, и никакого особенного порядка наводить не нужды.

Валентин Валентинович с удивлением посмотрел на нее; ее вызывающий тон был для него неожидан — что-то он упустил, что-то ускользнуло от него, где-то дал промашку. А может быть, все это относится не к нему, а к матери, к отцу... Нет, она прямо и неприязненно смотрит на него...

Валентин Валентинович даже на мгновение растерялся, не зная, что сказать.

Выручило появление Андрея в запачканной мелом рубашке.

— Я тебе велела быть дома, — строго проговорила Ольга Дмитриевна.

— Я дома, — ответил Андрей простодушно.

— Каждый раз тебя приходится звать — так нельзя, Андрюша. Ты очень грязный. Умойся, поужинай — ужин на кухне, — сделай уроки и ложись спать. Дверь на цепочку не бери, чтобы не было, как в прошлый раз...

— Я догадываюсь, что было прошлый раз, — улыбнулся Валентин Валентинович, он уже овладел собой. — Богатыри именно так и должны спать.

Ольга Дмитриевна подняла с пола вортфель мужа, поставила на письменный стол.

— Пора, наверно? Трамвай довозит нас только до Охотного.

— У нас еще достаточно времени, — ответил Наворочий.

Его нетерпеливость объяснилась, когда они вышли на улицу.

У тротуара стоял открытый легковой автомобиль. За рулем сидел шофер в кожаной куртке и кожаных крагах.

Валентин Валентинович открыл дверку:

— Прошу!

— Зачем это? — поморщился Николай Львович.

— Не хотелось, чтобы наших дам толкали в трамвае.

19

Дети еще спали. Николай Львович и Ольга Дмитриевна пили утренний кофе. Ольга Дмитриевна в халате, Николай Львович в домашней куртке.

Вчерашний спектакль ему понравился, давал повод для размышлений. И перед ним в свое время стояли те же вопросы: сотрудничество с новой властью, признание новых хозяев страны. Были годы разрухи, казалось, все пошло прахом. Но восстано-

лено хозяйство, заводы и фабрики работают, как работали раньше, отчуждение между властью и технической интеллигенцией сглаживается. И надо работать. Для блага России.

Ольга Дмитриевна чувствовала его настроение, улыбалась и молчала...

Бог послал ему хорошую жену, верную спутницу жизни и хорошенькую вдобавок. Она училась пению, ее даже пригласили в оперетту (опять оперетта, везет ему на оперетты!), но сама не пожелала для себя такой судьбы. У нее была поразительная способность довольствоваться тем, что есть. Они дважды ездили за границу, в Париж и Лондон, но и эти поездки она никогда почти не вспоминала, наделенная редкостным даром радоваться тому, что у нее есть, любить то, чем обладает, и не говорить о том, чего нет; даже тогда, когда было трудно, она выкручивалась, как могла, что-то продавала, тянула семью и сумела сохранить праздничность, как будто прожила легкие, беспечные годы, не знала голода и лишения, страха, детских болезней и всего, что она знала и пережила.

— Налить еще кофе? — спросила она шепотом, чтобы не разбудить Андришу, спавшего на диване.

— Налей. Вкусный кофе сегодня.

Она кивнула кудрявой головой. И эту свою черту она сохранила — любила, когда ее хвалили. Но ей не терпелось обсудить вчерашний поход...

— Ну, как он тебе?

— Обходительный чересчур.

— Но без лакейства...

— И еще: чересчур собран, чересчур начеку... Мне кажется, что Людя не слишком ли очарована.

— Да, мне это тоже показалось... Мне кажется, он просто ей неинтересен, так же, как тебе и мне. Но он ей почему-то нужен... Хочет иметь при себе постоянного поклонника! Это льстит ее детскому самолюбию! Непонятно. Желание кружить голову! На нее это не похоже. Она и не кокетничает вовсе. С мальчишками из ее класса, если ты помнишь, она кокетничала гораздо смелее. Выйти замуж за него? Нет, она не собирается выходить за него замуж. Перед тем, как он пришел к нам, я спросила ее: зачем он тебе? Она напустила таинственности, сказала: значит, нужен. Но я вид был чересчур таинственный, и ничего за этим, я думаю, нет.

— Тогда остается понять, зачем это нужно ему?

— Ну вот, это типично мужская постановка вопроса. Посмотри на Людю, я думаю, что зто Валентин Валентинович не последнее разбитое сердце.

— Что-то он не похож на разбитое сердце.

— Похож, похож, — сказала Ольга Дмитриевна довольно безапелляционно, — возможно, поэтому он и был так ненатурален — от смущения... А в общем, я думаю, все скоро пройдет.

— И чем быстрее, тем лучше, — добавил Николай Львович, — ей в этом году поступать в вуз. И не надо забывать, какой конкурс, — ей придется все лето готовиться; тут, я думаю, не до молодых людей.

— Конечно, как только кончится школа, уедем на дачу, и пусть сидит и занимается до самых экзаменов... Кстати, надо бы нам с тобой съездить на дачу, помочь маме. Дачей пользуемся, а все на маме — и дом и сад.

У тещи была дача на Клязьме по Ярославской дороге; теща жила там круглый год, они выезжали летом.

— Не знаю, сумею ли я выбраться. Поезжай с Людой. Весеннее солнце, загар вам будет к лицу.

— Мне хотелось с тобой, тебе тоже загар идет, — пошутила Ольга Дмитриевна.

Николай Львович пересел к письменному столу, закурил, решил посмотреть документы, отданные ему вчера Красавцевым, поискал глазами портфель. Портфеля на столе не было. Наклонился, посмотрел, нет ли его возле стола, — там тоже не оказалось.

Ольга Дмитриевна кончила пить кофе, ушла в спальню, присела к трельяжу, начала причисываться.

— Оля, ты не видела моего портфеля?

— Портфеля? Сегодня не видела.

Николай Львович вышел в переднюю, зажег свет, посмотрел под вешалкой — портфеля не было.

Он вернулся в столовую, еще раз посмотрел вокруг письменного стола, осматрел диван, за диваном. Портфеля не было.

Он прошел в спальню, посмотрел и там.

— Что ты ищешь? — по-прежнему шепотом спросила Ольга Дмитриевна.

— Все тот же портфель. Куда я мог его засунуть?

— Может быть, ты оставил его на работе?

— Ты сама вчера, перед театром, переставила его на стол.

— Да, верно, вспоминаю. Тогда он на столе.

— Его нет на столе.

— Почему ты так обеспокоен? Там что-нибудь важное?

— Служебные бумаги.

— Но он куда-то мог деваться. Давай искать вместе.

— Я все обыскал.

— Хорошо, ты садись, я сама буду искать. Я найду — что мне за это будет? Оставайся здесь.

Ольга Дмитриевна вышла из спальни, довольно скоро вернулась.

— Нигде нет. Я разбуджу Андрея!

— Разбуди, — попросил Николай Львович.

— Господи, значит, это так важно! — воскликнула она и подошла к дивану, тихонько позвала сына: — Андриша, проснись! Проснись, малыш! Проснись и вспомни, что было. Ты выходил во двор?

Андрей поднялся, протирая глаза кулаками, уселся на диване.

— Андриша, когда мы уехали в театр, ты выходил во двор?

— Какой двор! — недовольным, заспанным голосом переспросил Андрей.

— Ну, проснись, мальчик, вспомни, скажи: ты выходил во двор?

— Никогда я не выходил.

— Это правда?

— Правда.

— Да, я знаю, ты всегда говоришь правду, — сказала Ольга Дмитриевна.

— А к тебе что-нибудь приходило? — спросил Николай Львович. Товарищ какой-нибудь?

— Нет.

Николай Львович показал на стол.

— Вот здесь стоял мой портфель. Где он?

— Андриша, понимаешь, это очень важно для папы, — сказала Ольга Дмитриевна.

У мальчика сделалось встревоженное лицо, ему передалась тревога родителей.

— Я его даже не видел, портфеля.

— Но не мог же он улететь в форточку! — воскликнула Ольга Дмитриевна.

Николай Львович открыл окно и свесился через подоконник. Пожарная лестница проходила между окнами спальни и столовой, однако перелезть с нее было невозможно — прут, крепящий лестницу, проходил мимо выше окна.

— В окно нитко залезть не мог. Если бы даже смог, — зачем понадобился портфель со служебными бумагами!

— Но сам портфель очень хороший, кожаный, перекрасный, с серебряной эмблемой. Позвони в милицию.

Николай Львович подумал, потом сказал:

— Спи, сынок, портфель найдется. Пойдем, Оля, не будем ему мешать.

Они вернулись в спальню, Николай Львович приоткрыл дверь.

— Надо немедленно позвонить в милицию, — снова сказала Ольга Дмитриевна.

— А кого обвинять? Никого, кроме Андрея, не было, — возразил Николай Львович. — И в сущности, это уж не так страшно — бумаги не слишком важные: старые акты на брак. А затевать все из-за портфеля, из-за эмблемы не стоит.

Ольга Дмитриевна пристально смотрела на мужа. Она всегда безошибочно угадывала, когда он говорит неправду, говорит единственно, чтобы успокоить ее. Сейчас он говорил именно так.

Николай Львович молча прошелся по спальне, постоял у окна, подумал, потом сказал:

— Пожалуй, я съезжу с тобой на дачу. Поедем в субботу, переночуем, вернемся в воскресенье вечером. Успокоимся, подумаем, как быть. О портфеле пока никому не говори.

— Господи, кому я могу сказать! Чтó ты, Коля! Но все это очень странно. Может быть, это сделал Витка Бузов?

— Все может быть, — согласился Николай Львович и, подумав, добавил: — Я думаю, что Люде тоже не следует ничего говорить.

Ольга Дмитриевна растерянно пробормотала:

— Люде?.. Я ничего не понимаю... Коля! Почему это надо скрывать от Люды?

— Я не хочу ее волновать.

— Какие глупости! Мы все волнуемся. Она разве не член нашей семьи, ей чужды наши заботы!

— Я этого не говорю... Но она проходит практику на фабрике...

— Она проболтает?

— Конечно, нет. Но она будет себя чувствовать на фабрике несколько неуверенно, что ли, будет опасаться каких-то осложнений для меня, а никаких осложнений не будет, все это, в общем, пустяки...

Ольга Дмитриевна продолжала пристально смотреть на мужа. Все звучало очень неубедительно.

— Ты это связываешь с Навроцким?

— Оленька, милая, я ни с кем не связываю, у меня нет никаких оснований связывать это ни с Навроцким, ни с Андреем, ни с Виткой Бузовым. Мне надо подумать. И я не хочу лишних разговоров и потому прошу тебя никому ничего не говорить, в том числе и Люде.

— Но ей может сказать Андрей.

— Скажи ему, что портфель нашелся.

20

Итак, вагон отправили, а документы похитили. Все продумано. Красавцев сделал так, что он взял документы домой. Навроцкий увел в театр, третий забрал документы. Кто он, третий? Нехто неизвестный, пропавший в квартире, когда Андрей спал? Или Андрей сам отдал портфель сыну кладовщика Панфилова? Он исключает такую возможность, но то, что вынужден об этом думать, уже чудовищно. Если это товарищи Андрея, компания — как называется Миша Поляков, — то в милиции их заставят говорить, преступник обнаружится, но и его сын окажется замешанным. Это невозможно. На сознатель-

ное зло, воровство мальчик не способен, но его могли обмануть, использовать. Если Андрей не замешан, то преступника не найдут, преступником будет он, Николай Львович Зимин; он уже документы с фабрики, у него дома они пропали, он отвечает за брак на производстве и хотел скрыть его причины. В обоих случаях он на подозрении, и дальнейшая работа на фабрике немислима.

Обратиться к Красавцеву? Тому ничего не стоит скрыть пропажу документов. Но тогда он в их руках, тогда-то они расползутся, покажут себя, разворуют фабрику.

Следовательно, или компрометация, или шантаж. Они не добьются ни того, ни другого. Он не глупее их, работал на этой фабрике двадцать лет, знает все возможные уловки. Они не обведут его.

В понедельник, на фабрике, Николай Львович сказал Красавцеву:

— Я просмотрел документы, но там не все. Будьте добры, подберите мне все документы по браку, скажем, за последние два месяца. Кроме того, подберите все документы Навроцкого. Так, кажется, фамилия представителя Деткомиссии?

— Да, так, — подтвердил Красавцев, соображая, зачем все это требуется Зимину.

— Вот и прекрасно. Сделайте это побыстрее.

— Нужно время, документов много.

— Понимаю. Три-четыре дня вам хватит? Ну, пять дней? Неделя? Значит, получаю их в субботу. Правда, в субботу я уезжаю на дачу, с собой я их, естественно, не потащу. Но в воскресенье вернусь с дачи пораньше и просмотрю.

— Кого вы проверяете, Николай Львович?

Зимин усмехнулся.

— Себя проверяю, Георгий Федорович, себя. Вы допускаете такую возможность?

21

Операция с Навроцким не внушала Красавцеву опасений. Служебные бумаги в порядке: товар для Деткомиссии. А что с товаром дальше его, Красавцева, не волнует, за это он не отвечает. Что касается комбинации с браком, то браковочные акты оформлены, подписаны мастером и техническим контролером — людьми, подчиненными Николаю Львовичу Зимину. Акты липовые, но они существуют, проверить соответствие их качеству товара невозможно: товар ушел.

Требование Зимина передать ему новые документы насторожило Красавцева. Зачем, если Навроцкий с ним поладил? Значит, не поладил. Зимина не купишь. «Себя проверяю» — это сказано неспроста, он хорошо понимает инсказательные обороты инженера. Зря послушался Навроцкого, зря передал Зимину документы, потянул бы неделю-другую, Зимин бы забыл о них. И новые документы не даст, в коммерческом отделе три сотрудника, некогда этим заниматься.

С Навроцким пора кончать: меры не знает, подведет да еще строит из себя аристократа. Этого Красавцев особенно не терпит. Комбинируй и не строй из себя принца Уэльского.

Красавцев с Навроцким встали в казино.

Валентин Валентинович не играл в рулетку, из всех игр признавал только тотализатор — на бегах властвует не случай, а знание. Навроцкий знал лошадей, разбирался, играл наверняка.

Войдя в зал, Валентин Валентинович отыскал глазами Красавцева за игорным столом, но не подошел,

сделал вид, что не замечает. По лицу Красавцева было видно, что дела его плохи. Как завязатый игрок, он обычно выигрывал, но в конечном итоге — всегда в проигрыше и нуждается в деньгах.

Валентин Валентинович молча изучал расчерченные на клетки игорные столы.

Крупные провозглашал:

— Граждане, делайте ваши ставки!

Игроки кляли фишки на клетки. Крупные дергал рычаг, вертелся круг, по нему метался шарик, пока не попадал в одно из пронумерованных отделений. Все напряженно следили за ним... Потом крупные лопоточкой сгребал фишки.

Все как в настоящей рулетке. Только нет бедных, испитых лиц стариков и старух, годами восседающих за игорными столами, нет князей и графов, оставшихся тут состояния. Средних лет люди, полные силы и здоровья, пытаются счастье, играют по мелочи, провинциальные кассиры и уполномоченные, прокутавшие в столичных ресторанах казенные деньги, делают здесь отчаянную попытку их вернуть, взятчики, вроде Красавцева, просящиеся тут, что халхули у изпманов и снабженцев. Эти люди проигрывают не деньги, а жизнь. Нет, его игра другая.

Крем глаза он следил за Красавцевым. И тот проигрывает жизнь. Впрочем, чем больше теряет Красавцев, тем больше получает он, Навроцкий.

Наконец Красавцев поднялся.

Валентин Валентинович пошел ему навстречу.

— Здравствуйте, — буркнул Красавцев, — вы мне нужны!

Они вышли на улицу, свернули за угол и пошли по Тверской.

— Зимин требует документы по всем вашим отправлениям, — мрачно сообщил Красавцев.

— А что он сказал о бумагах, которые вы уже ему передали?

— Сказал, что их недостаточно, хочет посмотреть остальные.

— Дайте ему остальные. Дайте, дайте! В тех документах он ничего не нашел и в этих не найдет. Да и что можно найти? Документы в порядке, акты оформлены, вы это сами хорошо знаете.

— Зачем он их требует?

— У него свои соображения, — загадочно ответил Навроцкий, — хочет окончательно убедиться, что со мной можно иметь дело. Неужели непонятно? Дайте ему документы, а мне сделайте пять вагонов и все оформите браком.

Красавцев остановился.

— Вы с ума спятили?

— Разве я похож на сумасшедшего? Да, да, пять вагонов. В понедельник Зимин сам подпишет любой акт, даю вам гарантию, головой отвечаю.

Его веселая уверенность поколебала Красавцева. Все же он сказал:

— Пять вагонов брака невозможно, слишком заметно, вмешается трест. Пять вагонов! Чрезвычайное происшествие! Даже если Зимин подпишет акт, я на такое не пойду.

— Чем вы рискуете? Вагоны уйдут, останется акт — официальный, оформленный, всеми подписанный.

Некоторое время они шли молча, потом Красавцев сказал:

— Мне нужно тридцать червонцев.

— Не повезло! — сочувственно спросил Навроцкий.

— Мне нужно тридцать червонцев!

— Я могу вам их дать, но прошу: не играйте, сегодня вам не везет.

— Не учите меня... Сегодня играть не буду.

Они зашли в подворотню, Валентин Валентинович вручил Красавцеву тридцать червонцев.

Тот сунул их в карман. Они пошли дальше.

Пять вагонов обеспечены, и он временно уходит в сторону. Надо оглядеться, отдохнуть, может быть, поехать на юг с какой-нибудь блондинкой... Эллэн Буш! Красота! Вот с кем отправиться в Ялту или в Кисловодск. Заслужил он отдых или нет? Королева! Он оденет ее, как королеву! Люда не подходит. Зачем ему девушка-аристократка, когда он сам аристократ? Аристократу нужна артистка — это имеет вид, как говорят в Одессе.

— Так как с вагонами?

— Оформить все браком я не могу.

— Половина браком, половина третьим сортом?

— Подумаем... И я не могу сделать все для Деткомиссии. Слишком часто.

— Сделайте часть для Минской швейной фабрики.

— Доверенность настоящая!

— Георгий Федорович, — вынужденно проговорил Навроцкий, — мои документы все настоящие. Липы не бывает. И деньги с Гознака, а не с Марьиной рощи. Эта сторона дела пусть вас никогда не беспокоит. И Зимина тоже пусть не беспокоит.

Красавцев молчал.

— Так как, договорились?

— Если в понедельник Зимин вернет документы и не будет осложнений, я вам сделаю пару вагонов третьим сортом для Минской швейной фабрики.

— Не пару, а пять.

— Почему именно пять?!

— Так рассчитано, Георгий Федорович. Нам надо расстаться на серьезной операции с приятными воспоминаниями друг о друге. Эта операция даст вам возможность еще много раз посидеть в казино. А мне — купить шале, небольшую дачу под Москвой. Понимаете, я люблю природу, особенно в средней полосе России... Ведь Подмосковье — это тоже средняя полоса России, не правда ли?

22

Витка не остался безучастным к появлению Миши Полякова в своем доме: пожаловал, на испуг хотел взять. И к Белке приходил — тоже на испуг хотел взять, буфет обворовали. А ты докажи! Кто видел! Прижорные на крыше ели, так их вон в булочной продают. Нет свидетелей. От кого мог узнать?

Витка об этом не беспокоился. Он вообще редко беспокоился. Но своими ребятами был недоволен. Белку видели на улице с Шаринцом, а ей запрещено с ним водиться. Шныра и Фургона взяли на ругз у в школе, кооператив какой-то, проторговались, просят денег из к р ы м с к и х.

Чем бы стали они без него? Паштет — карманным, Белка — форточницей, давно бы сидели в колонии. Шныру и Фургона завербовали бы в пионеры, маршировали бы, дурачки, в красных галстуках. А он их в Крым берет, людьми делал.

Сидя во дворе, Витка лениво выслушивал их объяснения.

— Нас с Фургоном поставили тетрадки продавать, карандаши и все прочее, — рассказывал Шныра, — а потом из учекма проверили — три рубля недостаки.

— Согласись, зачем? Вам больше всех надо!

— Так ведь постановление учекма...

— Дурачки вы! — пренебрежительно сказал Витка. — Мишка нарочно асучил вам кооператив, чтобы запутать. А как проторговались? Взяли чего?

— Ничего не брали! Фургон перепутал. Линейки есть и по четыре колейки, и по десять, и по пятнадцать, от длины зависит, а он всем говорил четыре. Все перепутал.

— Зачем перепутал?

— Я вижу, написано: линейки деревянные — четыре колейки, я и говорю четыре колейки: все шумят, торолят, я и перепутал,— попытался оправдаться Фургон.

— Выкручивайтесь, как хотите,— сказал Витька.— Не дам денег, они на Крым. Влезли—вылезайте. Витька повернулся к Белке, неожиданно спрочил:

— О чем с Шаринцом говорила?

— Все не говорила.

— У магазина с ним стояла?

— Я у витрины стояла, он подошел, я отошла.

— Врешь!

— Не вру.

— Шныра! Говорила она: Шаринцом?

— Говорила.

— Чего же врешь?

— Не говорила я,— упорствовала Белка,— он подошел, я отошла.

— Я еще разберусь,— сказал Витька — Шаринец — ширма, к нашим деньгам подбегается. Кто ему про Крым натрелся!

Белка прижала руки к груди:

— Вот, христом-богом...

— Еще раз увижу с Шаринцом, никакой христос не поможет,— пригрозил Витька.— Ладно! В воскресенье поедем на Дорогомиловское кладбище синичек ловить.

— Я не могу,— сказал Фургон,— в субботу мои уезжают на дачу, велели в воскресенье дома сидеть.

— Без тебя обойдемся,— презрительно ответил Витька.

Витька не знал, что а субботу вечером Шныра и Паштет собираются а Мишей Поляковым з цирк. Шныра и Паштет ему об этом не сказали: знали: Витька запретит. А пойти з цирк им очень хотелось.

23

Невиданный воздушный аттракцион под куполом цирка без сетки! Три-буш-три!

Эллен — ее лартнеры ловко взобрались по веревочной лестнице. Погас свет. Проекторы осветили в воздухе стройные фигуры, перелетающие от одной трапеции к другой. Барабан выбивал мелкую дробь.

Они встались по канатам, раскланивались, уходили, возвращались, вызванные аллодисментами, снова уходили и олять возвращались, задержанные жестом инспектора манежа. Все смотрели на Эллен, освещенную прожекторами красавицу в трико с блестящими.

К ее ногам урал букет цветов. Миша оглянулся. Букет кинул Валентин Валентинович.

В антракте Миша, Шныра и Паштет прошли за кулисы. Их ожидала Эллен. Она была в сером шерстяном костюме, туфлях на высоком каблучке и в берете.

— Ты уходишь? — спросил Миша.

— Да, я уже выступила.

— Я провожу тебя?

— Зачем, ведь еще одно отделение.— Она кинула на мальчиков, рассматривающих зверей в клетках: — Кто это?

— Разбят а нашего двора. У них замечательные акробатические способности. Может быть, вы их посмотрите?

— Безпризорные, безнадзорные, неустroенные,— засмеялась Эллен,— ты все еще занимаешься этим?

— Приходится.

— А дальше?

— Собираюсь в Плехановский.

— Кого он готовит?

— Экономистов.

— Будешь все экономить, считать, жадничать,— снова засмеялась Эллен.— Не скучно?

— Ты путаешь: экономист — это не экономка. И скучать я не буду, скучать можно ло человеку.

Миша покраснел. Признания, даже такое отдаленное, это было ему на язык звание и себя.

— Это верно,— согласилась Эллен,— я очень соскучилась по тебе, Генке, Славе.

— Мы тебя редко видим,— сказал Миша, обрадованный тем, что она не заметила или сделала вид, что не заметила его признания.

— Я цирковая, гастролирую,— рассвояно проговорила Эллен, оглядываясь, видимо, поджидая кого-то.— Как тебе понравился наш номер?

— Понравился. Но я предпочитую два-буш-два.

— Почему?

В ее голосе прозвучало кокетство, несколько снизводителъное: для нее Миша был все еще мальчик, он чувствовал это.

— Мне это кое-что напоминает,— сказал Миша.

— Я не знала, что ты так привязан з воспоминаниям детства.

— К некоторым очень,— сказал он твердо.

— Приходится обновлять номер, иначе он надоест публике,— сказала Эллен.— Ты бы мог смотреть все время одно и то же?

— Я бы мог.

— Если на арене будут твои знакомые,— засмеялась Эллен.— Но не у всех зритель знакомые актеры. Телерь у нас новый номер, и он потребовал нового лартнера, Сережу. И лосколько он присоединился к нам, а не мы к нему, то он тоже стал Бушем.

— Самозванец! — засмеялся Миша.

Подошли Игорь и Сережа — стройный молодой человек с мужественным лицом.

— Знакомьтесь: Миша, Сережа...

В Сережином рукопожатии Миша почувствовал полное к себе равнодушие.

В сопровождении униформиста появился Валентин Валентинович.

— К вам.— Униформист обратился к Эллен.

— Я восхищен вашей замечательной работой,— сказал Валентин Валентинович.

— Слабисбо,— ответила Эллен,— и з цветы спасибо.

— Аллодисменты и цветы — единственное, чем зритель может выразить свою благодарность,— продолжал Валентин Валентинович.— Кого я только не видел... Немцев, итальянцев... Но никакого сравнения! Двойное салъто на такой высоте — изумительно!

Игорь, игнорируя слова Навроцкого, спросил Мишу:

— Что же не привел Генку, Славу?

— Они не могут сегодня, в следующий раз придут.

— Давненко я их не видел.

Прозвучал настойчивый звонок, за ним другой.

— Идите,— сказала Эллен,— а то свои места улустите.

В то время, как Миша и Валентин Валентинович были в цирке, Зиминны собирались на дачу.

Ольга Дмитриевна устроила большой беспорядок. Николай Львович подозревал, что она всю неделю продолжала поиски портфеля: а дома все было сдвинуто и переставлено. Сейчас она пыталась справиться с пакетами и пакетиками; у нее их всегда получалось очень много. Люда, отпуская по этому поводу иронические замечания, собирала пакетики в большие пакеты и узлы. Николаю Львовичу ее ирония казалась неуместной, но он молчал. Люде явно не хотелось ехать. Почему? Неужели этот прохвост в лакированных штиблетах играет в ее жизни большую роль, чем она старается показать? Всю эту неделю она о нем ни слова, в доме он тоже не появлялся. И о портфеле ни слова. Они ей, правда, ничего не сказали. Но неужели она в самом деле ничего не знает?

— Как хотите, — сказала Ольга Дмитриевна, — а я еще возьму старое пальто, я его уже не ношу, а бабушке в нем будет удобно выходить в сад. Как подумаю, что она там одна... Мы себе совершенно не представляем ее жизни...

Николай Львович перебирал бумаги. Папку, полученную сегодня от Красавцева, он оставил на столе, на видном месте, покосился на Андрея.

— Из дома не выходи, почитай и ложись спать в Людиной комнате. Дверь никому не открывай, скажи: нет дома.

— Хорошо, — буркнул Андрей.

По выражению его лица ничего нельзя было понять.

И все же другого выхода нет, надо проверить Андрея. Если не Андрей, в чем он уверен, тогда он захватит преступников. План безошибочен: если взяли те документы, должны прийти за этими.

О своем плане он не сказал жене, не хотел ее волновать. И без того он сказал ей много лишнего, создал в доме атмосферу недоверия, подозревает Андрея, подозревает Люду. Как все это ужасно, он сам разрушает самое дорогое в своей жизни — семью.

Каковы бы ни были отношения Люды с Навроцким, она не способна притворяться и лгать. Нет, нет, нет!

Именно поэтому Николай Львович поступит так, как решил.

На карту поставлено не только его служебное положение, но его незапятнанная имья, будущее его детей.

Когда поезд подходил к Лосиноостровской, Николай Львович вдруг сказал жене:

— Совсем забыл! Директор просил срочно приготовить докладную записку. Сейчас вернусь домой. Поезжайте без меня.

— Но, Коля... — только и смогла ответить пораженная Ольга Дмитриевна.

— Пожалуйста, умоляю тебя!

Люда удивленно смотрела на них, не понимая, что происходит.

Поезд тормозил, подходя к платформе «Лосиноостровская».

Николай Львович вынул папирсы, приготовил спички, астал и направился к выходу.

В тамбуре он закурил.

Когда поезд остановился, Николай Львович вышел на платформу, поднял воротник плаща, перешел на

другую платформу и через минуту-две сел в поезд, идущий в Москву.

Расписание он изучил точно.

В Москве, на Арбате, он сошел с трамвая на одну остановку раньше своей; медленно пошел по противоположной стороне улицы, по-прежнему с поднятыми воротником; вошел в ворота своего дома, когда оттуда хлынула толпа из кинотеатра «Арбатский Арс», — Николай Львович рассчитал свой приезд так, чтобы попасть к концу сеанса. Смешавшись с толпой, он пересек двор, бросил взгляд на окна своей квартиры — они были темны. С заднего двора он вошел в подъезд черного хода, поднялся по лестнице и открыл дверь.

Не зажигая света, через кухню прошел в столовую.

В тусклом свете, доходявшем из окон соседнего корпуса, увидел папку на столе, на прежнем месте.

Николай Львович приоткрыл дверь в комнату Люды.

Андрей спал.

Андрей ни при чем. Он это знал.

По-прежнему не зажигая света, Николай Львович снял пальто, повесил на вешалку, посмотрел на часы: еще только половина десятого. Ну что ж! Подождем!

25

И з цирка они доехали до Арбатской площади на «Анушке», как называли москвичи трамвай «А», по Арбату же пошли пешком.

Шныра и Пахтет убежали вперед. Миша и Валентин Валентинович медленно шли по улице.

От встречи с Эллен Миша ожидал другого. Чего именно — не знал. Шел с надеждой. Какой — тоже не мог сказать.

Девочка, с которой он еще год назад был снисходителем, теперь была снисходительна к нему — сознание, оскорбительное для молодого человека, считающего себя мужчиной.

Уход в личное Миша всегда третирует, как обкрадывание общественного. Теперь этой спасительной формуле, защищавшей его юношеское целомудрие, был нанесен удар: мысль об Эллен не покидала его.

— Цирк — прекрасное зрелище, — говорил между тем Валентин Валентинович, — но многое преувеличивает. Эффект достигается манипуляциями, зритель принимает их за чистую монету. На манеже мужчины кажутся Аполлонами, женщины — Афродитами, а за кулисами... Такое разочарование... Я не говорю об Эллен Буш, она действительно красавица, это делает честь вашему вкусу.

— Почему моему? — нахмурился Миша.

— Мне показалось, что у вас к ней о с о б е н н о е отношение...

Миша остановился, вызываясь спросил:

— Как вы смеете это говорить? Какое, собственно, вам дело?

Они стояли друг против друга.

Ладно, стерпим, возьмем себя в руки, он накажет Мишу, когда увезет Эллен, вот тогда этот идейный мальчик поплывет. Сейчас не время.

— Прошу прощения, Миша, я вел себя, как хам, признаю. Но злого умысла не было, поверьте. Я прилеплен к вам самого лучшего, самого доброго отношения. А за амикошество, повторю, простите.



Они пошли дальше.
Миша хмуро молчал.

— Вы сердитесь, — сказал Валентин Валентинович, — вы правы. В вашем возрасте это трепетно, серьезно, а мы, старики, скоты и циники. Мне стыдно за себя, поверьте. Хотите поехать со мной на бега? — неожиданно спросил он.

— Меня это не привлекает.

— Жаль. Лошади — моя страсть. В этом я кое-что понимаю. Игрок! Да-да, играю в тотализатор. Это предосудительно, я знаю, за азартную игру в тотализатор исключают из партии, но я беспартийный, более того, я обыватель. Представьте себе! Обыва-

тель тоже предосудительно, но у каждого своя судьба. Вы комсомолец, человек идейный, а я рядовой совслужащий, получаю небольшой оклад крошечные проценты...

— Все люди живут на зарплату.

Валентин Валентинович покосился на Мишу. Мальчик поучает. Что ж, продолжим комедию.

— Понимаете, Миша, люблю хорошо пожить. У меня примитивные потребности. Хорошо жить — тоже примитивная потребность, не правда ли? Миша пожал плечами. Его вызывают на разговор, а он не хочет разговора — этот человек ему чужд, что он будет ему доказывать?!

Не дождавшись ответа, Навроцкий продолжал: — Да, люблю хорошо пожить. Вы спросите, как? Отвечая: лошадики выручают. Я не просто игрок, я счастливый игрок.

Его смех громко прозвучал в тишине ночной улицы.

— Да, Миша, я счастливый игрок, вот кто я такой. Я знаю, я вам не нравлюсь, и вот смотрите: делаю все, чтобы понравиться еще меньше. Дурацкий характер! Вместо того, чтобы завоевать ваши симпатии, я, наоборот, углубляю ваши антипатии. Кстати,—неожиданно спросил он,—почему я вам не нравлюсь?

Его болтовня раздражала Мишу, он чувствовал скрытое издевательство и сухо ответил:

— Какая разница? Мне, например, безразлично, нравлюсь я вам или нет.

— Вы не считаетесь с мнением других людей? — Считаться с мнением других вовсе не означает всем нравиться.

— И все же я вам не нравлюсь, признайтесь! — настаивал Навроцкий.

— Да, не нравлюсь.

— За что именно, интересно узнать?

— Вы получили вагон мануфактуры; помните, я помогал толкать?

— Конечно, помню

— Зимин велел этот вагон задержать, его отпустили, а Зимину сказали, что не успели задержать.

— Кто сказал?

— Кладовщик Панфилов.

— А я при чем?

— Вы вместе с Панфиловым и Красавцевым обманули Зимина.

— Ах, Миша, Миша,—улыбнулся Навроцкий,—и по таким вещам вы судите о людях? Хотите знать правду? Да, все сделали с моего ведома. Больше того—по моему настоянию. Судите сами. С великими трудами добыл я вагон мануфактуры, обил десятки порогов, вырвал сотни резолюций. Наконец товар мне выдан, я его оплатил, получил железнодорожный вагон, тоже, между прочим, не без труда, телеграфировал в Батум, что отгружаю товар. И вдруг, в последнюю минуту, Зимин приказывает задержать вагон, по-видимому, для того, чтобы передать его другому агенту, возможно, более настойчивому, более предпримчивому или более зломому. А я должен начинать все сначала, опять ждать месяц или два. Какой же я после этого снабженец? Лопух, дурак и бездарь!

Они шли мимо темных, но знакомых витрин. Миша молчал. В рассуждениях Навроцкого была своя логика. Впрочем, логика была и в рассуждениях Панфилова. Чужая логика.

Валентин Валентинович продолжал:

— Представьте: вы директор швейной фабрики, ждете вагон мануфактуры, иначе фабрика не может работать. А ваш уполномоченный, тыфяк, чурбан, проворонил этот вагон, уступил его неизвестно кому, и фабрика должна остановиться. Будете вы держать такого уполномоченного?

— Допустим, вы защищали интересы своего предприятия,—сказал Миша.— А Красавцев? Панфилов?

Они стояли во дворе, в глубоком, темном колодезе, образованном корпусами дома. Несколько окон еще светилось.

Валентин Валентинович развел руками.

— О Красавцеве я ничего не знаю.

Не хочет говорить о Красавцеве. А ведь встречался с ним в ресторане. Все арет, все подумывает.

— А Панфилов? Почему Панфилов защищал интересы вашего предприятия, а не выполнил приказ своего инженера?

— Я должен отвечать за какого-то Панфилова?

— Вы с ним вступили в сделку, дали взятку. Он взяточник, а вы взяткодатель.

Удар был точный. Прямолинейность этих мальчиков может быть опасной.

Обдумывая каждое слово, Валентин Валентинович сказал:

— Взятки я ему не давал. Просто Панфилов не хотел лишней волокиты и был, между прочим, прав: задержка вызвала бы много осложнений — простой вагона, штраф, неустойку и так далее и тому подобное... Но предположим, чисто теоретически, что все было по-другому: я что-то дал Панфилову, лаятку, десятку, допустим, дал. Ну и что? Ведь мануфактуру я получаю не для себя, а для государственного предприятия.

— Это вопрос не денежный, а моральный,—возразил Миша.— За десятку человек продает честь и совесть.

— Да ничего я ему не давал! — закричал Навроцкий.— Вы заблуждаетесь!

— Я ничего не утверждаю,—ответил Миша,—не видел и потому не утверждаю. Вы у меня спросили: почему вы мне не нравитесь, я вам ответил.

Валентин Валентинович задумчиво проговорил: — Да, с такими принципами, с такой прямолинейностью вам будет трудно жить, Миша...

В ночной тишине глухо, но близко и отчетливо раздался выстрел.

— Вы слышали? — Валентин Валентинович повернулся в ту сторону, откуда послышался выстрел.

— Как будто выстрел, может быть, пугач!

— Нет, не пугач,—встревоженно произнес Валентин Валентинович.— Это не пугач!

Миша показал на подъезд Зиминич.

— Вроде бы оттуда.

— Посмотрим! — решительно проговорил Валентин Валентинович и быстрым шагом направился к подъезду.

26

Они вошли в подъезд и услышали, как кто-то бежал вверх по лестнице.

— Они побежали наверх,—сказал Миша и, перескочив через две ступеньки, кинулся вдогонку.

— Осторожнее, Миша, они вооружены! — закричал Валентин Валентинович и побежал за ним.

Они пробежали несколько этажей и остановились, прислушиваясь.

Топота ног уже не было слышно.

— Ушли на чердак,—сказал Миша.

И вдруг до них донесся детский крик:

— Папа, папа...

Они поднимались еще на этаж и увидели в дверях квартиры Андрея Зимина, босого, в трусах и майке. Размывая кулаками слезы по лицу, он повторял:

— Папа, папа...

В коридоре на полу лежал Николай Львович.

— Зажгите свет! — сказал Навроцкий.

Миша повернул выключатель.

Валентин Валентинович наклонился над Зиминим, увидел струйки крови на куртке и на полу.

— Звоните соседям! Срочно врача, милицию!

Соседи уже толпились на площадке, заглядывали в квартиру: полудотые фигуры, испуганные, застывшие лица...

— Товарищи! — сказал Валентин Валентинович. — Есть ли поблизости врач?

— Во втором подъезде. Илья Борисович, — ответил соседка.

— Сходите за ним, побыстрее, пожалуйста!

— Сейчас, пальто накинута.

— Товарищи мужчины, бегите к дворнику! У кого есть телефон, звоните в милицию!

Валентин Валентинович действовал быстро, решительно, все подчинялось ему. Сверху и снизу, разбуженные шумом, подходили жильцы, толпа заполнила площадку.

— Я услышал выстрел, разбудил Соню, говорю: слышишь, стреляют!

— Я дремала, но сквозь сон тоже слышала выстрел. Потом — топот ног по лестнице.

— Они вверх побежали.

— Наоборот, вниз.

— Человека застрелили, в собственной квартире, какой ужас! Но побежали наверх.

— Бандиты! Они вниз побежали. Зачем наверх? На крышу? На небо?

Валентин Валентинович сказал:

— Андрей, пойдй оденься, простишься!

Андрей шагнул в коридор, но испуганно отшатнулся, увидев распростертое на полу тело отца.

— Пойдем, деточка...

Соседка увела Андрея к себе.

Появился врач, с нахмуренным лицом прошел в квартиру.

Валентин Валентинович стоял в дверях.

Врач склонился над Николаем Львовичем, потом поднялся.

— Он мертв.

— Боже мой! — всплеснула руками соседка.

Кто-то предложил:

— Может быть, положить его на диван?

Врач запретил:

— До милиции не трогайте!

Наступило тягостное ожидание.

Валентин Валентинович курил папиросу за папиросой.

Подходили еще люди, расспрашивали, им рассказывали про выстрел, про топот ног...

Появились милиционеры, трое, они вошли в квартиру, осмотрели тело Зимины, коридор, прошли в комнаты, переговори с врачом, вышли на площадку.

— Кто что видел или слышал?

Миша показал на Валентина Валентиновича.

— Мы с товарищем Наврозиным услышали выстрел, во дворе еще... Мы вбежали в подъезд, услышали топот ног наверху, побежали туда, но не догнали.

— Куда же те могли деваться?

— На чердак, наверно.

— Ты знаешь чердак?

— Знаю.

— Пошли!

Миша и два милиционера поднялись по лестнице и вошли на чердак.

Милиционеры вынули пистолеты, осветили чердак карманными фонарями.

Они осторожно двинулись, перелезая через стропила и балки, тщательно освещали углы. Чердак был пуст.

Так добрались они до Виткиной каморки. Миша потянул самодельную дверь. Милиционер осветил чумачки. На тюфяке сидел Витка, шурил глаза, ослепленный светом фонарика.

— Ты чье здесь?

— Ничего, сплю.

— Вставай!

Витка поднялся.

— Оружие!

— Какое оружие?

— Подними руки!

Витка поднял руки.

Один милиционер направил на Витку свет фонарика, другой обыскал.

Оружия при Витке не оказалось.

— Кто здесь есть еще?

— Никого нет.

— Выйди!

Витка вышел из каморки, увидел Мишу, с удивлением посмотрел на него.

— Ты?

— Кто-то вбежал на чердак. Ты не слышал, не видел?

— Не слышал, не видел.

Милиционер вытесил из-под тюфяка жестяную коробку с бумажными, серебряными и медными деньгами.

— Чьи деньги?

— Мои.

— Куда револьвер закинул?

— Не видел я никакого револьвера, чего пристали?!?

— Не шуми, я тебе так пошумлю! — пригрозил милиционер. — Посмотри за ним, — сказал он товарищу, — я тут поищу.

С Мишей он пошел по чердаку. Свет фонарика скользил по балкам и стропилам. У одной балки милиционер задержался, наклонился, разрыв кучу шлама, вытащил портфель, открыл, осветил фонариком.

Портфель был пуст, на внутреннем клапане серебрилась монограмма: «Николаю Львовичу Зимину от коллектива фабрики»...

Они вернулись к каморке, милиционер показал Витке портфель.

— Где взял портфель?

— Не видел я этого портфеля.

— Пошли!

Жильцы стояли на лестнице, внизу и вверх, свешивались через перила, поминутно хлопала дверь подъезда, подходили еще люди.

Толпа расступилась, пропуская в квартиру милиционеров и Витку. Миша остался на площадке. Валентин Валентинович стоял в дверях. Послышался шум машины, подъехавшей к подъезду.

Агенты угрозыска вошли в квартиру. Они вышли оттуда с Виткой и поднялись на чердак.

Миша устал, хотелось спать, он присел на ступеньки лестницы.

В широких окнах брезжил ранний майский рассвет.

Жильцы не уходили, появлялись новые, подошли отец и мать Витки. Отец был трезв, суетлив, поворачивался во все стороны, слушал разговоры, все время приговаривал: «Так ведь разобраться надо по справедливости, а как же, иначе нельзя». Мать смотрела на всех умоляющим, жалким и затравленным взглядом.

В квартире что-то происходило, осмотр или обыск. Тело Николая Львовича перенесли в комнату.

Вернулись с чердака агенты угрозыска с Виткой. Мать метнулась к нему, но Витка сурово проговорила:

— Чего кидаетесь?

Можно было только подивиться его дерзкому хладнокровию.

— Отойдите, гражданка, — сказал агент.

— Это его мать, — объяснял кто-то из толпы.

— Незачем волноваться, — ответил агент, — все выяснят.

Они опять вошли в квартиру. Настало утро, люди уходили на работу, другие толпились на лестнице, во дворе, у подъезда. Из квартиры вышли миллионеры, между ними шел Витяка.

Все хлынули за ними. Спустились во двор и Миша с Валентином Валентиновичем.

В воротах Витяка оглянулся, разыскивая глазами мать, но, видно, не нашел ее.

Его взгляд встретился с Мишиным взглядом.

27

Тяжелые, намокшие бревна захватывали баграми, обвязывали веревками, втаскивали на берег, грузили на дроги, стоявшие вдоль набережной, тогда еще не гранитной, а земляной, местами выложенной булыжником, между камнями пробиравшаяся чахлая травка.

Яша Полонский всех подбадривал:

Это мы разгружали поленья,
Провалившись по пояс в воде.
Это мы, это мы — покореженные
Грудицы с новой венею.

— Сатира получается у тебя лучше, — заметил Миша.

— В данном случае нужна не сатира, а прямая и доходчивая агитка, — ответил Яша, сморкаясь в платок.

— Простудился?

— Ходил я по лужам, теперь я простужен.

На школьном дворе ребята распиливали бревна, кололи чурки на дрова, цепочкой передавали друг другу, укладывали штабелями возле котельной. За лето дрова высохнут, на следующую зиму школа будет обеспечена топливом.

Кончатся занятия, кончатся школа...

На последнем бюро обсуждали, кого рекомендовать в председатели учкома на будущий год. Миша предложил Сашу Паикратова. Только-только передали в комсомол? Ну и что? Толковый парень, смелый, принципиальный. С ним согласились — хорошая кандидатура. И другие ребята ничего: Нина Иванова, Максим Костин...

Всегда кажется, что тот, кто придет после тебя, будет хуже, но ведь и те ребята, которых сменил он, Миша, тоже считали его маленьким, боялись, что дальше будет «не так». Не так, конечно, по-другому, а ничего, работал.

В цепочке ребят, передающих дрова, Миша увидел Андрея Зимины и Лёню Пандрилова. Жалко Андрея и Люду, и их маму, не похожую на маму. И ничего не выяснено, подозрение на одного Витяку.

Миша не мог забыть взгляда, каким Витяка разыскивал мать.

Он увидел Витяку таким, какого знал в детстве, тот Витяка не мог убить. И Витяка, который оглянулся, ища глазами мать, тоже не мог и не убил Зимины.

Чистая психология, конечно, а все же не мог убить.

Как-то Миша зашел к Люде. Она читала, отложила книгу, когда Миша вошел, посмотрела на Мишу глубоким, выжидательным, совсем новым взглядом, потом вдруг улыбнулась.

— Садись!

У Миши сжалось сердце от этой улыбки. Странная девочка, гордая. Он вспомнил разговор с Ни-

колаем Львовичем. Николай Львович сказал тогда: «Это делает ей честь». Она и сейчас держится так же, старается скрыть свое горе, не навязывает его никому. А они пели про нее: «Я жеманство тру-ля-ля»...

— Где мама? — спросил Миша.

— Скоро придет.

— Как она?

— Мне кажется, она еще не понимает, что произошло, не верит, не осознает. То вдруг становится такой, будто сама умерла. А иногда она вдруг начинает лихорадочно обвинять Витяку Бурова, быстро, быстро, и все про Витяку, все про него, как будто хочет и себя и меня убедить, что именно он во всем виноват.

— Наверно, она так и думает, — заметил Миша.

— Да, убеждена в этом. Она всегда его побаивалась, хотя не всегда сознавала, хранилась, а теперь утверждает, что еще до всего он пытался на ее глаза влезть в окно.

Миша взглядом примерился к пожарной лестнице.

— Это довольно сложно.

— Я то же самое ей сказала, а она отвечает: «Сложно! Для него!»

— А что было в портфеле?

— Служебные бумаги, какие-то документы на брак.

— Зачем они Витяке?

— Возможно, он их просто выбросил. Мама утверждает, что ему был нужен портфель. Ведь они собирались в Крым. Андрей замусолил том энциклопедии на «К», Андрей ведь еще совсем дурачок. Он, например, своим почерком, с ошибками через каждые два слова, изготавлял «д а к у м е н т». В «Документе» указывалось, что учитель Витя Буров едет со своими большими чахоткой учениками в Крым.

— Для Крыма нужен не портфель, а чемодан. Но, допустим. Скажи, если не секрет, почему о пропаже портфеля твой отец не заявил в милицию?

— Роковая ошибка. Если бы заявил, то остался бы жив. Но понимаешь... В тот вечер дома оставался один Андрей, папа опасался, что подозрение падает на него. Кроме того, если Андрей как-то причастен к пропаже, то папа надеялся, что со временем он сумеет вернуть документы — зачем они ребятам?

— Неужели Андрей причастен?

— Нет, ни в коем случае, этого не может быть.

Я пытаюсь представить себе ход логичных мыслей. — Ну, хорошо, Витяка украл портфель, допустим, даже с помощью Андрея. Но убийство?

— Я не верю, что Витяка убил папу, не верю... — сказала Люда — Я думаю, что нас хотели ограбить, проследили, как мы уехали на дачу, забрели в квартиру, но папа неожиданно вернулся с дороги.

— Да? Почему?

— Вспомнил, что ему надо написать докладную записку. Конечно, это очень странно, я до сих пор ломаю над этим голову.

— Действительно, странно, — сказал Миша.

— Вообще, много непонятного... Например, о пропаже портфеля я узнала после того, как убил папу.

— Тебе не говорили? Скрывали? Целую неделю?

— Да.

— Почему?

— Мама говорит: не хотели волновать меня... Я в это не слишком верю.

— И Андрей тоже не знал?

— Андрей знал, они спрашивали у него, где портфель.

— Значит, только от тебя скрывали?

— Люда пристально посмотрела на Мишу.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Просто констатирую это обстоятельство.

Но для самого Миши это обстоятельство было ясным: Зимин не доверял Люде из-за Навроцкого. Может ли Миша сейчас доверять Люде? А если она передает Навроцкому!.. После того, что случилось,— сомнительно. А впрочем... Пусть думает в другой раз, с кем шататься по ресторанам!

— Я хочу, чтобы ты, на всякий случай, знала: в портфеле действительно были документы на брак. Но этот брак был отпущен твоему знакомому, Валентину Валентиновичу...

Миша подробно, обстоятельно рассказал Люде об эпизоде с вагоном.

— Кстати,— безжалостно заключил Миша,— когда вы с Юрой танцевали в ресторане, Валентин Валентинович разговаривал с Красавцевым, а потом Красавцев передал документы Николаю Львовичу в проходной, когда Николай Львович шел домой. Николай Львович не хотел брать, Красавцев навязал их ему.

Люда ошеломленно смотрела на Мишу.

— Но когда пропал портфель, Валентин Валентинович был с нами в театре...

— Был... А когда убили Николая Львовича, был со мной в цирке... Я его не обвиняю, я просто рассказываю тебе некоторые обстоятельства.

Люда широко раскрытыми глазами смотрела на Мишу. Потом закрыла лицо руками.

— Ну, ты чего...

— Это я убил папу... Она отняла руки, глаза ее были сухие и красные... Я привела этого человека в наш дом.

«Что-то не так получается у меня с этой семьей,— подумал Миша.— То злость на них, то жалость». — Я ведь не сказал ничего утвердительного, просто пытаюсь связать между собой некоторые факты.

— Это я убил лапу,— повторила Люда,— я привела этого человека в дом. Папа говорил, что он ему не нравится, не хотел видеть его в нашем доме. Теперь я понимаю, почему: он знал, он предчувствовал... Боже мой... Это я, я, я... Все я... Виновата одна я. Ведь когда он пришел к нам перед театром, я сразу поняла, что он такое, все врет, ни одного слова правды, я все почувствовала, но у меня не хватило духа отказаться, не идти в театр, мне было стыдно перед папой, перед мамой... Боже мой, боже мой, что я наделала...

Она раскачивалась, закрыв глаза. Миша впервые видел такое отчаяние, не знал, что ему делать, как утешить. Все из-за него, а он, может быть, не прав, ведь нет никаких доказательств.

— Нет никаких доказательств, что ты сделал Навроцкий,— сказал он.— Ты напрасно себя казнишь. Наоборот, все доказательства в его пользу, ты сама их приводила. Кроме того, убив твоего отца, они не взяли документов— значит, дело не в документах и, следовательно, не в Навроцком. Просто я так же, как и ты, не верю, что Витка— убийца.

Она сидела молча, смотрела в одну точку, потом сказала:

— Я убью этого мерзавца.

— Перестань!— сказал Миша.— Не бросайся из одной крайности в другую. Надо сначала доказать: идет следствие, оно все выяснит. Единственное, что от тебя требуется: не выдавай Навроцкому своих подозрений. Обещаешь?

— Я с ним больше не вижу,— отстала Люда.

Славина квартира, раньше такая большая и светлая, выглядела теперь скучной и запущенной. Пыльные ковры на полу, подгоревший бежевый над столом, на диване в беспорядке маленькие подушки. И только рояль в углу такой же чистый и блестящий, как и раньше, и тот же перед ним обращающийся стул.

Дверь в спальню была открыта, там мелькнула фигура Константина Алексеевича в заносном халате. Небритый, осунувшийся, мешки под глазами, он не вышел и не поздоровался.

Славка отнесся к этому спокойно, привык к странностям отца или не хотел, обращая внимание, подчеркивать их.

— Я не допускаю мысли, что Витка убил Зими-на,— сказал Миша.— Обыскивали весь чердак, пере-брана каждая щепка— оружия нет. Проник в квар-тиру? Как? В окно? На виду у всего дома? Через дверь? Ни ключей, ни отмычек у Витки не нашли. Дверь открыл Андрей? Андрей участвовал в убий-стве отца? И главное— мотивы преступления? Ограбление? Почему унес только портфель? Доку-менты? Зачем они Витке?

— Я тоже не верю, что Витка убил Зими-на,— сказал Славка.

— А я верю!— объявил Генка.— Кто такой Вит-ка Буров? Начинаящий бандит, подчеркиваю а чи-нающий. Он первый раз забирается ночью в чу-жую квартиру, волнуется, видит портфель, думает, в нем что-то ценное, хватает, убегает. Проходит неделя, никто портфеля не ищет, все тихо. Пре-красно! Витка идет опять, дорожка знакомая, но там неожиданно хозяин... Витка со страху стреля-ет, ему уже не до барахла, удирает, закидывает куда-то листок, забирается на чердак в свою кону-ру и притворяется, что дышит.

— Если бы у Витки был револьвер, он обяза-тельно доказал бы его ребятам,— возразил Славка. — Может быть, и показал! А они скрывают. Главное— откуда на чердаке взялся портфель?

— Да,— сказал Миша,— портфель— единствен-ный пункт против Витки. Но в портфеле были до-кументы на брак; они нужны не Витке, а Красав-цеву, Панфилову и Навроцкому.

— А может быть, по их поручению Витка и сде-лал это,— предположил Генка.

— У него были плохие отношения с Навроцким. Для видимости можно и по мордасам дупить друг друга. Кто, если не Витка? Навроцкий. Когда украли портфель, он был с Зиминим в театре, ко-гда убили Зими-на— с тобой в цирке. Если он и взял портфель, если и убил Зими-на, то Виткиними руками, а сам устроил себе алиби: сначала Худо-жественный театр, потом цирк.

— Вы оба горячитесь, а зря,— сказал Славка.— Один твердит— Витка, другой— Навроцкий. Ну, а сам Зимин? Почему он скрыл пролаку портфеля с документами? Боится, видите ли, подвести Андрея? Что грозило малолетнему Андрею? Ровным счетом ничего. Больше того! Несмотря на пролаку первых документов, Николай Львович взял домой вторую лачку документов, отправил на дачу жену и дочь, а сам с дороги неожиданно вернулся домой. За-чем? Вспомнил о докладной записке? Ерунда! Ни-колай Львович не тот человек, чтобы забыть о до-кладной записке. Если даже забыл, то написал бы в воскресенье вечером. Он вернулся не случайно, вернулся специально, намеренно, лопхал, чтобы убрать Ольгу Дмитриевну и Люду, а сам вернулся. Зачем? Почему?

— Что ты додонишь? почему, почему? — заметил Генка. — Сам скажи — почему?

— Можно предположить только одно, — сказал Славка. — Зимин должен был встретиться с кем-то у себя дома. Встретился, поздоровали, они его убили. Но, заметьте, документов не взяли. Значит, не в них дело.

— То есть Навроцкий ни при чем, это ты хочешь сказать? — спросил Миша.

— Да, возможно, дело не в Навроцком, не в Витке, а в ком-то третьем. Зимина могли вовлечь в какую-то аферу, запутать. Он, допустим, захотел выйти из игры, и его убили, опасаясь разоблачений.

— Зимин был нечестный человек?

— Честный. Может быть, даже сверхчестный. И в этом, может быть, все дело — он в чем-то запутался или его запутали.

— Выходит, никому нельзя верить?

Славка качнул головой:

— Просто я больше вижу, больше слышу. Я уже говорил: изнанка жизни. Вы ее не видите, я вижу. Сам подумай: зачем Навроцкому с Красавцевым убивать Зимина? Из-за документов? Красавцев мог с этими документами сделать на фабрике что угодно. Эти документы в его руках. Они отлично понимают, что за убийство выйдет! Нет, это не Навроцкий, не Красавцев, это другие люди, которых, может быть, никто, кроме самого Зимина, не знает. И именно потому, что никто, кроме Зимина, не знает, они и пошли на такое дело.

— Подведем итоги, — сказал Миша. — Генка считает убийцей Витку Бурова. Так, Генка?

— Да. Допускаю, что Витка был исполнителем, орудием в чьих-то руках, возможно, в руках того же Навроцкого, того же Красавцева. Но портфель украл он, убил Зимина он.

— Ясно. Славкина точка зрения: Зимин запутался в связях с какими-то неизвестными нам дельцами, и его убили. Так, Генка?

— В общих чертах так.

— И, наконец, мое мнение: Витка ни при чем. За этим делом стоит Навроцкий. Теперь встает вопрос: что будем делать?

Славка удивился:

— Что мы можем делать? И почему мы должны что-то делать? Следствие само разберется.

— Как мы можем вмешиваться? — добавил Генка. — И зачем? Витку выручать?

— Да, — сказал Миша, — надо выручить Витку.

— Бог тебе в помощь. Я этого не собираюсь делать.

— Бог мне не помощник и не товарищ. Вы мои товарищи. От вас я жду помощи.

— Что именно?

— Хотелось бы знать, что говорят об этом на фабрике. Твоя тетка, наверно, в курсе.

— Это можно, — согласился Генка.

— А ты, Славка, поскольку ты так хорошо знаешь изнанку жизни...

— Твои насмешки меня не трогают.

— Тем лучше. Так вот. Навроцкий — частый посетитель «Эрмитажа». Не мог бы ты узнать о нем поподробнее?

— Если что-нибудь узнаю, скажу.

— Прекрасно! От самого дела вы устранились?

— Я не намерен тратить на это время, да у меня его и нет, — сказал Славка.

— А у меня нет желания защищать Витку Бурова, бандита! — объявил Генка.

— Ну что ж, — сказал Миша, — значит, на этот раз я остался один.

Чем он располагает? Ничем, в сущности. История с вагоном! Маловато.

И все же среди бесчисленных лиц, мелькавших в ту ночь на лестнице, пораженных, взволнованных, испуганных, лицо Навроцкого было единственным исполненным затаенной тревоги, внутреннего напряжения, готовности к любой неожиданности. Воспоминание об этом лице укрепляло Мишу в его уверенность больше, чем все другое. Опять психология? Ну и пусть!

С чего начинать? Кого он знает из окружения Навроцкого? Только Юру. Но если тот что-либо и знает, все равно не скажет, верный паж. Поделся за ресторанный похлебку, за беф-строганов и кофе со сливками. Ничего не скажет, не с него надо начинать.

Начинать надо с Андрея Зимина и Ленки Панфилова. Шныра и Фургон из компании Витки будут его защищать, выгораживать, и все же могут обнаруживать какие-то подробности, что-то действительно существенное в пользу Витки. А все, что в пользу Витки, то против Навроцкого. Что они могут знать об истинном убийце? Ничего! И все же говорить больше не с кем, надо говорить с ними.

Шныра и Фургон дежурили в бригаде распределения, и Миша отправился на кухню.

Нагретым кухонным ножом Кит ловко разрезал круг масла на одинаковые кубики. Виртуоз, ничего не скажешь! Человек, нашедший свое призвание.

Шныра и Фургон чистили картошку.

— Потоньше срежьте кожуру, который раз вам говорю! — выговаривал им Кит.

Картофельная каторга! — пробормотал Шныра с отвращением.

Миша попросил Кита отпустить Фургона.

— Так ведь столы скоро накрывать, — ответил Кит недовольно.

— На несколько минут всего. Идем, Андрей! Они вышли на школьный двор, уселись в тени высокого тополя.

— Как ты думаешь, Андрей, Витка виноват в том, что случилось с твоим отцом?

— Откуда я знаю? Я не видел, кто убил папу.

— А кто украл портфель?

— Я спал, когда его украл.

— И не слышал, как кто-то забрался в квартиру и унес портфель?

— Не слышал.

— А как портфель очутился на чердаке?

Вместо ответа Фургон пожал плечами, губы у него задрожали.

«Мучаю ребенка», — подумал Миша.

— Слушай, Андрей, — сказал Миша, — твоего отца убил негодяй, мерзавец. Неужели ты будешь его защищать?

— Но ведь я ничего не знаю! Меня и следовательно вызывал, и мама спрашивала. А что я знаю? Я спал. Я не видел, кто взял портфель, не видел, кто стрелял.

— Но сам ты как думаешь: Витка виноват? Андрей молчал.

— Что же ты молчишь? Ты его боишься? Кого ты боишься?

— Никого я не боюсь, — ответил Андрей, потупившись.

— Ну так говори!

— Ничего я не знаю. И про Витку не знаю: он украл или нет — не знаю.

— А зачем ты с ним вошел?

— Я не с ним, а со Шнырой, а уж потом вместе...

- Что вместе?
- Ну, были вместе.
- А револьвер ты видел у Витьки?
- Нет.
- Честное слово?
- Частное слово!

Миша смотрел на Фургона. Не может быть, чтобы арал, не похож на лгуна, неуклюжий, добродушный мальчишка, ничего в нем воровского, блатного, ничего хитрого, лукавого.

Все же Миша переспросил:

- Значит, у него не было револьвера?
- Я не знаю: был или не был. Только я не видел, он мне не показывал.
- А ты говорил кому-нибудь, что твои уйдут в театр?

— Никому не говорил. Я сам не знал, что они пойдут. Меня позвали со двора, сказали: уходим, оставайся дома, ложись спать. Я и лег.

— Хорошо. А во второй раз? Ты знал, что твои собираются на дачу?

- Знал.
- Говорил кому-нибудь?
- Чего?
- Что твои уезжают на дачу, говорил кому-нибудь?

— Нет...

Андрей вдруг осекся, растерянно посмотрел на Мишу...

От Миши это не ускользнуло.

— Сказал кому-нибудь, вспомни! Это очень важно.

Андрей снова потупился, потом тихо проговорил: — Витьке сказал.

— Значит, Витька знал, что твои уезжают на дачу?

— Знал,— прошептал Андрей.

— Зачем ты ему сказал?

— Сказал...

— Он спрашивал тебя?

— Нет.

— Зачем же ты сказал?

— Витька нам говорит: поведем в воскресенье на Дорогомилловское кладбище синичек ловить. А я ответил: не могу я, наши в субботу уезжают на дачу и мне велели сидеть дома. Вот так он и ушел про дачу.

— Кто при этом был?

— Ну кто... Я, Шыра, Паштет, Белка.

Черт возьми, все сложнее, чем он думал!

— Слушай меня внимательно, Андрей! Ничего и никого не бойся. Скажи мне правду, Витька брал портфель?

Андрей молчал.

— Из тебя все приходится вытаскивать клещами.

— Все говорят, что украл.

— И убил он!

— Все говорят, что убил.

— А ты, ты как думаешь?

— Я не верю,— прошептал Андрей.

Итак, Витька знал, что Зимины уезжают на дачу, и, конечно, видел, как они уходили в театр. В обоих случаях ему было точно известно, что никого, кроме Андрея, дома нет.

Серьезная улика. Многого меншеет.

Неужели правы эти таинственные «все», а он ие прав?

Может быть, неприязнь к Навроцкому мешает ему быть объективным? Он иастолько уверовал в его виновность, что не видит фактов, уличающих Витьку, не хочет их видеть, игнорирует. И Фургон недоговаривает. Круговая порука? Кого он боится?

Шыру? Паштета? Белку? Паштет и Белка водились раньше с уголовниками, знают их обычаи, их законы.

Но главный у них, после Витьки, безусловно, Шыра, правая рука атамана. Андрей под его покровительством, под его влиянием. Не его ли больше всего боится Андрей?

Миша проводил Фургона на кухню и позвал Шыру. Тот не стал ожидать разрешения Кита, скинул фартук, с отращиванием отбросил нож и вышел с Мишей во двор.

В отличие от Фургона Шыра категорически объявил:

— Никакого портфеля Витька не брал, а уж убивать... Никого он не убивал.

— Как это ты так можешь утверждать? Ты все его дела знаешь?

— Знаю.

— Выгораживаешь Витьку.

— Не выгораживаю, а правду говорю.

— Ты же был со мной в цирке. Откуда ты знаешь, что в это время делал Витька? Когда мы были в цирке, как раз и убили Зимины.

— Все равно Витька не убивал.

— А буфет в кино вы обворовали?

Шыра молчал.

— Молчишь! Не хочешь правду говорить? Почему же я должен тебе верить про Витьку, раз ты не хочешь говорить правду про буфет?

Не глядя на Мишу, Шыра сказал:

— Да, в буфете мы взяли.

Миша пристально смотрел на Шыру. Его признание говорит о многом. Понимает, что сейчас не время жалости: решается судьба Витьки. Этому парнишке можно верить. Миша поверил.

— Что взял?

— Пирожные, конфеты, ситро, монпансье две банки.

— Вот видишь,— сказал Миша,— раз Витька обворовал буфет...

— Не Витька, а мы все.

— Без Витьки вы бы этого не сделали. Не сделали бы, а?

Шыра пожал плечами, не зная, что ответить.

— Витька вас учил воровать,— продолжал Миша.— Он блатный, и вас хотел сделать блатняками.

— Витька не блатняк! Не водился с ними и нам не давал. Он, когда узнал, что Белка водится с Шаринцом, сказал, что не возьмет ее в Крым.

— Разве Белка водится с Шаринцом?

— Раньше водилась.

— А сейчас?

— Разговаривала. Витька спрашивает: говорила с Шаринцом? А она отпирается,— нет, не говорила. Врет! Витька ей сказал: будешь с Шаринцом,— не поедешь в Крым.

— А о чем Белка разговаривала с Шаринцом?

— Не знаю, стояла у витрины и разговаривала.

— Ну и что Витька?

— Витька и говорит: не смей водиться с Шаринцом, он ширма, к нашим деньгам подбирается.

— К каким деньгам?

— А что мы на Крым собирали.

— Те, что в жестяной банке были, в чулочки?

— Ага!

— Он хотел, чтобы Белка украла эти деньги?

— Не знаю, как: чтобы украла или чтобы ему сказала, где их Витька прячет. Только что не узнал никогда. Витька их перепрыгивал. Шаринец сколько раз искал— не нашел.

— Где искал, на чердаке?

— Ну да! Сколько раз на чердак лазил, да не нашел, Витька места менял.

— Как же он залезал на чердак? Что-то не видел я, чтобы он взбирался по пожарке.

— По пожарке он не лазил. Он через черный ход...

— Так ведь дверь Витка на задвижку закрывал.

— Витка закрывал наш черный ход, а Шаринец со своего хода лазил.

— Его подъезд на другом крыле.

— А он по крыше.

— Вы его видели на чердаке?

— Сколько раз!

Шаринец разговаривал с Белкой? Ну и что? Хочет отбить ее от Виткиной компании, давняя история. Что еще? Шаринец связан с уголовным миром? Но зачем ему документы? Впрочем, документы не были нужны и Витке — улик тут одинаковые. А вот чердак — это существование: Шаринец тоже мог спрятать портфель на чердаке. Шаринец, если он убил Зимина, мог по крыше перелезть на свой черный ход — живет он на восьмом этаже, прямо в свою квартиру... Конечно, Шаринец — карманный ворюшка, но более того, не почему на Витку можно думать, а на Шаринца нельзя! Уж он скорее поверит, что Шаринец это сделал.

— Слушай, — снова заговорил Миша, — ты поминишь, как Андрей сказал, что его родные уезжают в воскресенье на дачу?

— Говорил. Мы за сникками собирались, он и сказал: не могу, уезжают мои.

— А кто при этом был?

— Все мы были.

— И Белка?

— И Белка.

Миша пристально посмотрел на Шныру. Нужно ему довериться, другого выхода нет.

— Скажи, могла Белка сказать Шаринцу, что Зимин уезжает в воскресенье на дачу?

— Не знаю... Мога... Она все может. Неверная.

— Что значит неверная?

— Ненадежная.

— А мне ты веришь? — спросил Миша.

— А чего? Почему ты спрашиваешь?

— Я, как и ты, убежден, что Витка не виноват, не крал портфеля и не убивал Зимина. И буду делать все, чтобы это доказать. Верить ты мне?

— Верю.

— Будешь помогать?

— Буду. Что я должен делать?

— Пока молчать.

— Ладно, — сказал Шныра.

30

На чердачных дверях висели замки: после всех событий упрямом закрыл чердак. Пришлось взобраться на крышу по пожарной лестнице.

На крыше Миша проделал путь, который мог бы проделать Шаринец после убийства Зимина, если допустить, что именно он его убил, а потом убежал по крыше к своему черному ходу. Путь его в этом случае проходил по краю крыши, путь опасный, и переход на свое крыло тоже опасный, но при известной ловкости и сноровке вполне возможный.

Затем через слуховое окно Миша спустился на чердак.

Виткиной каморки больше не существовало. Шаткое сооружение было разрушено, на его месте

валялись старые доски с ржавыми, погнутыми гвоздями, ободранные листы фанеры, рваный тофяк.

Сейчас, когда он был здесь один, Миша ощутил чердак таким, каким ощущал его в детстве, — таинственным, загадочным, отделенным от остального дома. Глухая тишина нарушалась далекими звуками улицы и двора, воркованием голубей на крыше, царапаньем их когтей по жести крыши, и тут как будто летали невидимые птицы, их крылья трепетали в углах и щелях чердака.

Он даже не услышал, а почувствовал кого-то за своей спиной и оглинулся: возле слухового окна стоял Шаринец, поглядывал на Мишу. Некоторое время они молча смотрели друг на друга.

— Ты чего здесь? — первым спросил Миша.

— А ты чего?!

— Антенну проверяю.

Он был в лужушке: чердачные двери заперты, а на крышу Шаринец загорает дорогу. Справиться с Шаринцом ничего не стоит — лютик! Но, может быть, он вооружен. Что у него: револьвер или нож?

— Антенну? — повторил Шаринец, с трудом выговаривая это слово. — Проволока, что ли? — Он кивнул в сторону крыши.

— Ага, она, — спокойно сказал Миша, — подходи к окну и выглянь на крышу. — Провисает, приходится подтягивать.

Теперь он стоял рядом с Шаринцом, готовый предупредить любое его движение. Мысль работала четко и ясно. Револьвер страшен на расстоянии, а когда стоишь вплотную, он не успеет его выхватить. Однако никаких враждебных намерений Шаринец не проявлял. Кивнул на разрушенную Виткину каморку, лязгочно усмехнулся:

— Теперь не вывернется, бандюга! С финкой на тебя кидался, поминишь?

— Помню, — ответил Миша и, подтянувшись, ушел в проеме окна. Одно движение — и он на крыше. Главное — выбраться на крышу.

— Что ж вы его не укоротили? — спросил Шаринец.

— Разве мы миллицы? — ответил Миша, перебрал ноги на крышу, встал и подошел к антенне.

Шаринец поднялся за ним на крышу.

— Мы не миллицы, — повторил Миша, оттягивая шест. Он чувствовал себя в безопасности, стоит на виду, у окон соседнего корпуса. Впрочем, по-видимому, у Шаринца действительно нет враждебных намерений.

— Комсомольцы, штаб у вас, а вы просто так, мимо сада-огорода... Проморгали!

— Да, — согласился Миша, переходя к другому шесту. — Теперь ребят затаскают к следователю.

— А их за что? Убивал-то один Витка, его одного на чердаке нашли. Фургон спал. А Шныра с Паштетом в цирке были. С тобой были. Ведь были!

Хорошо, что Миша стоял спиной к Шаринцу, и Шаринец не видел его реакции: Шаринец отводит возможных Виткиных свидетелей, знает, где они были.

— Да, — подтвердил Миша, — они были со мной в цирке, а все же одна компания с Виткой. — Он повернулся, медленно пошел по крыше, трогая антенну руками, и продолжал: — ...и Белка из той же компании. А где была в тот вечер, неизвестно.

Шаринец исполдобья смотрел на него. Миша отметил про себя и это: замечание о Белке обеспокоило Шаринца.

— Что ж, по-моему: Белка была заодно с Витькой? — спросил Шаринец.

— Так ведь сам знаешь, в его компании была.

— Убивала, выходит, заодно? Девчонка?

— Разве я говорю, что убивала? Я говорю: ребят по следам теперь затащат. А насчет Белки я вообще хотел с тобой поговорить.

— Чего говорить-то? — насторожился Шаринец.

Мише было важно не то, что говорит Шаринец, он не проговорится, важно, как говорит.

— Видишь ли, ее могут взять на фабрику — не хочешь. Что посоветуешь?

— А я при чем? Почему ты ко мне?

— Говорят, ты имеешь на нее влияние.

— Кто говорил? Ну! — грубо спросил Шаринец.

— А ты чего на меня кричишь? Думаешь, я глухой? Может быть, ты сам глухой? Могут так рывкнуть, что у тебя барабанные перепонки лопнут. Знаешь, что такое барабанные перепонки? — Миша протянул руку к уху Шаринца. — Вот тут они у тебя, ты ими слушаешь, а лопнут, ничего не будешь слышать, глухим навсегда останешься. Понял?

Шаринец мрачно молчал.

— Я тебе не мальчик, учти, — продолжал Миша, — не Шныра, не Пашет. Мне говорили, что ты имеешь влияние на Белку. Кто говорил? Витка Буров говорил, вот кто! Витка говорил, что Белка тебя слушает, вот я и прошу: уговори ее пойти работать на фабрику, хорошее дело сделаешь.

Мишкино объяснение, по-видимому, удовлетворило Шаринца, и он спокойно сказал:

— Не маленькая, сама все понимает об себе. И не знаюсь я с ней, она с Виткой была. В Крым, дураки, собирались, на солнышке позагорать, вот и загорает, бандюга!

В разговорности Шаринца Миша почувствовал возбужденность человека к чему-то причастного, в обвинении Витки — фальшь, в злордстве — торжество мстителя. И его осведомленность, что где был в ту ночь, и его беспечность о Белке...

На другой день, в школе, Миша отозвал Шныру в сторону.

— Можешь узнать: говорила Белка Шаринцу, что Зимины уезжают на дачу?

— Если она Шаринца навела, разве она признается? — усомнился Шныра.

— Это верно. А могла она навести Шаринца?

— Не знаю. Только Витка ни при чем, это точно.

— Хочешь Витку выручить?

— Спрашиваешь!

— Следи за Шаринцом и Белкой.

Шныра исподлобья посмотрел на него.

— Шаринец узнает — убьет.

— А ты так, чтобы не узнал. Белке ничего не говори. И Фургому.

— Я с Пашетом, — подумав, сказал Шныра.

— Не продаст?

— Он верный, любит Витку.

31

В карты Валентин Валентинович тоже не играл. Есть карточные игры, в которых требуется умение, но надо ломать голову, а свою голову Валентин Валентинович берег для чего-то более существенного.

Но местонахождение игорного притона, где играл Красавцев, было ему известно.

Даа раз коротко он позвонил в дверь.

Настороженный женский голос спросил:

— Кто там?

— От Антониды Аристарховны, — паролем ответил Навроцкий.

Дверь открыла рослая, добелая, покрашенная женщина — хозяйка заведения.

За ярко освещенным столом сидели игроки.

В углу, на маленьком столике, стояли вина и закуски. К нему и подсел Валентин Валентинович, дожидаясь конца игры.

Ждать пришлось долго, но он никуда не спешил. От него не ускользнул настороженный взгляд Красавцева; тем спокойнее и невозмутимее выглядел он сам, respectable молодой человек в черных лакированных ботинках с гетрами на блестящих пуговицах.

Наконец Красавцев подошел к столику, иалил рюмку водки, стоя выпил, вполголоса спросил:

— Зачем вы здесь?

— Повидайтесь с вами, — весело ответил Валентин Валентинович. — Присядете?

— Нам незачем видеться, — ответил Красавцев, однако сел.

— Мне трудно жить, не видя вас. — Валентин Валентинович поканивал игрой в лакированном ботинке.

— Ваши шутки неуместны.

— Шутки уместны в любых обстоятельствах, дорогой Георгий Федорович, тем более уместны они в обстоятельствах комических.

— О какой комедии вы говорите?

— Сидите с убийцей Зимина, спокойно пьете водку и закусываете селедкой с луком.

— А что прикажете делать? Закричать: держите его!

— Идея! Это будет забавно.

Красавцев вытер губы салфеткой.

— Что вы хотите мне сказать?

— Вы должны твердо уснуть: никакого, просторно, никакого отношения к происшествию, я не имею. Будь я хоть мало-мальски причастен, меня давным-давно не было бы в Москве, вообще не существовало бы никакого Валентина Валентиновича Навроцкого. Неужели вы этого не понимаете? Чуть! Ерунда! Какие осования у вас связывать меня с этим делом!

— Вы наставляли передать документы Зимину.

— Документы лежат на столе, никто их не тронул.

— Вторые документы. А первые?

— Они пропали с портфелем и, вероятно, из-за портфеля. Зимин стал бы нашим человеком, поверьте! Но впустился игодей, мальчишка, бандит, какой-то Альфонс Доде, черт бы его побрал, все испортил. Я не знаю деталей, не хочу знать, меня это не касается. Я чист! А поскольку чист я, чисты и вы. Стыдно паниковать, Красавцев!

— Не стыдите меня, пожалуйста! — всплился Красавцев. — Много на себя берете, вы сами еще мальчишка. Я не утверждаю, что вы имеете отношение к происшествию, как вы изволили выразиться. Но оно имеет отношение к нам. Пока все не закончится, не уляжется, я ничего не могу делать и не буду делать. И вам не советую появляться на фабрике. Исчезните на время.

— Исчезнуть? Мне? Когда я ни сиом, ни духом! Красавцев, будьте мужчиной, не теряйте головы! Все должно продолжаться, как было.

— Что имею?

— Пять вагонов.

— Вы с ума спятили!

— Извините, это вы деморализованы, обеспокоены убийством Зимина, все это видать, в том числе и ваши подчиненные. Зачем вы сами вызываете ложные подозрения?

— Все равно, придется переждать,— уже спокойнее ответил Красавцев.— Назначен новый инженер, надо к нему присмотреться.

— Наоборот,— возразил Валентин Валентинович,— сразу ограничьте его: такое дело — производство, мое — быт.

— Ваше указание, товарищ Навроцкий, будет выполнено, как только вы станете директором фабрики.

Валентин Валентинович встал, холодно сказал:

— Я дел вам несколько дружеских советов, на мой взгляд, правильных и полезных. Главное, будьте спокойны, как спокоен я. Никаких, ни малейших оснований для беспокойства нет, по одной простой причине: ни я, ни вы не имеем никакого отношения к этому делу. Я жду ответа. И не задержите. Иначе нужные мне пять вагонов я получу в другом месте. Честь имею.

32

Все так же двигались толпы в тесных рядах Смоленского рынка, между ларьками, палатками, открытыми прилавками, коробами с фруктами и овощами, мясными тушами, подвешенными на крюках, растекались по Арбату, по Смоленскому и Новинскому бульварам, по бесчисленным переулкам, спускавшимся к Москве-реке, кривым, запутанным, пыльным и грязным.

В переулках тоже торговали дозволенным и запрещенным, гнилым и целым, собственным и краденым, прячась от милиции и фининспектора в глухих проходных дворах, возле ветхих домиков, вросших в землю и подпертых брезнями, в бывших ночлежках, где ютились беспризорики, старьевщики, фальшивые слепцы, а извозчиков трактиров, чайных и пивных. Одна из них, «Гротеск», соседствовала со складом пустых бутылок, описанием которого началась эта повесть.

Благопристойная на вид, с вывеской, где красовалась пивная кружка с громадным клубком белой пены, она, однако, пользовалась дурной славой даже среди постоянных обитателей Смоленского рынка. Здесь собирались воры, жулики, их подружки, скрупулки краденого. Порядочные коммерсанты заходили сюда только днеч.

Валентин Валентинович вошел в «Гротеск» тоже днем, побыл там некоторое время, вышел и смешался с рыночной толпой, не обратив внимания на двух мальчишек, сидевших на краю тротуара.

Этими мальчишками были Шныра и Паштет. Они видели, как Навроцкий вошел в «Гротеск» и как вышел оттуда.

Сообщение об этом было для Миши неожиданном. Шныра и Паштет следили за Шаринцом — постоянным посетителем «Гротеска». Туда же, оказывается, заходит и Навроцкий.

Пивная на открытом месте, Навроцкий мог зайти выпить кружку пива. И все же это первое, что удалось узнать Шныре и Паштету, причем сразу, сходу.

Второе, не менее важное сообщение Миша получил на следующий день...

Паштет шол за Белкой.

На Смоленском рынке, у галантерейного ларька, ее ожидал Шаринец. Паштет зашел за ларек и прислушался к их разговору.

— К тебе Мишка приходил? — спросил Шаринец.

— Ну, приходил.

— Почему мне не сказала?

— А ты мне кто: бабушка, бабушка?

— Схлопочешь!

— Сам схлопочешь!

— Ты что Мишке говорила?

— Ничего.

— А он тебе чего?

— На фабрику, говорит, иди.

— А ты что?

— Что, что... Ничего!

— Еще с Мишкой увижу — убью!

— Дурек!

— Навешаю!

— Боюсь я тебя очень! — презрительно ответила Белка и пошла прочь.

Паштет смог выйти из-за палатки только вслед за Шаринцом.

Против «Гротеска» сидели на тротуаре Шныра и Белка.

Шныра пересчитывал бутылки. Белка, подперев подбородок кулаком, мрачно молчала.

Шаринец подошел к ним.

Подошел и Паштет, уселся рядом со Шнырой.

Шаринец ткнул ногой в корзинку с бутылками.

— Дерьмом занимаетесь, копейки считаете?

— Ты! Осторожнее! — крикнул Шныра. — Разобьешь!

— Как ваш Альфонс? — насмешливо спросил Шаринец, косясь на Белку.

Ребята молчали.

— Говорил: не водитесь. Влип! Попались бы с ним заодно, пропались бы.

Они по-прежнему молчали.

— И с бутылками кончайте! Барахлитесь на помойке! Хотите заработать — дам дело. Настоящее. Соображайте!

Шаринец вошел в «Гротеск».

— Пойди, Белка, сдай бутылки! — сказал Шныра.

— Не пойду.

— Почему.

— Не хочу.

— Чего же ты хочешь?

— Ничего не хочу! Умереть хочу! Надсели все!

— Дз, скучно без Витьки, — сказал Паштет.

— Шаринец радуется, что Витьку посадили, гад! — добавил Шныра.

— Из-за него Витька и сидит, — сказала вдруг Белка.

— Почему из-за него? — в один голос спросили Шныра и Паштет.

Белка всхлипнула, вскочила, крикнула:

— А ну вас всех!

И побежала по переулку.

Из «Гротеска» вышел Шаринец и еще какой-то человек и скрылся за углом.

Шныра и Паштет пошли за ними.

33

Из-за него Витька и сидит... Белка зря не скажет. Такое тем более...

Допрос, который учинил ей Шаринец, не случаен. Забеспокоился после разговора на чердаке. Все, что показало тогда Мише, — ему не показалось. Все так и есть. Не случайно и появление Навроцкого в «Гротеске».

Следователь Свиридов, давний знакомый Миши, вызывал его. Миша рассказал тогда о вагоне, о Навроцком и Красавцеве, рассказал все, что знал и что

предполагал Свиридов своего отношения не высказал. «Посмотрим, поглядим».

Но теперь у Миши не только предположения. Шаринец! Новый персонаж, еще неизвестный следствию.

Миша тут же позвонил Свиридову. Того не было на месте. Миша звонил еще, но застал его только на следующий день к вечеру. Свиридов попросил немедленно приехать. Миша поехал, хотя на этот вечер договорился встретиться с Эллен после ее выступления. Обидно! Но ничего не поделаешь.

Миша рассказал Свиридову все подробно, начиная от разговора с Фургоном и кончая тем, что крикнула Белка возле «Гротеска».

— Ты поздно пришел! — сказал Свиридов.

— Поздно?

— Попов Владимир Степанович, он же Шаринец, убит.

Миша ошеломленно смотрел на Свиридова.

— Когда твои ребята видели его в последний раз?

— Позавчера, часов в пять, наверно. Он вышел с кем-то из «Гротеска».

— В тот вечер его и убили. В лесу, недалеко от платформы «Девятнадцатая верста» Брянской железной дороги. Труп найден вчера.

— Навроцкий! Валентин Валентинович! — убежденно сказал Миша.

— В ту ночь Навроцкий мирно спал дома. Кроме того, Шаринец убит из револьвера, вот пуля... Свиридов вынул из ящика стола маленькую приплюснутую свинцовую пульку, ...того же калибра, что и пуля, которой убит Зимин. Возможно, стреляли из одного и того же револьвера. Этого револьвера у Навроцкого не было и нет. Вероятнее всего, Шаринец убил человека, который вышел с ним из пивной «Гротеска».

— Поговорите со Шнырой и Паштетом, ведь они видели этого человека.

— Ты думаешь, они его узнают? Они его запомнили?

— Конечно! Они шли за ними до трамвайной остановки. Шаринец и этот человек сели в трамвай, на «четверку», и как раз в сторону Брянского вокзала.

— Вот видишь! Значит, не Навроцкий, а скорее всего именно этот человек убил Шаринеца. Но звать сюда ребят я не буду. Приблизительное описание ничего не даст, неточное — собьет со следа. Тебе тоже не следует с ними об этом говорить.

— Они все равно узнают, что Шаринец убит.

— Пусть. Только не от тебя.

— Почему?

— Видишь, что делается, — убивают.

— Могут и меня! — усмехнулся Миша.

— Могут и тебя. За этим стоят люди страшнее Навроцкого.

— А Навроцкий?

— Убивал не он.

— Выходит, убил Витка Буров?

— Я этого не сказал.

— Витка ни при чем, — убежденно сказал Миша, — теперь это абсолютно ясно. Витка в тюрьме, никакого отношения к убийству Шаринеца он не имеет. На Шаринеца они засыпались... Он с торжествующим повторил: — Они попались на Шаринеца: устранили сообщника.

— Еще не видно связи между обоими убийствами, — возразил Свиридов, — кроме предположения, что они убиты из одного револьвера.

— Этого мало?

— Мало, пока это предположение; много, когда будет установленным фактом.

— Но ведь Белка сама сказала, что из-за Шаринеца посадили Витку, — настаивал Миша.

— Кто это подтверждает?

— Как кто? Шныра и Паштет.

— Не хотят ли они вырвать своего предводителя и друга!

— Почему вы им не верите? Спросите Белку.

— Она скажет правду!

— В Белке я не уверен...

— Вот видишь!

— Но ведь Шаринеца убили не случайно.

— Безусловно! Вопрос в том, в чьих интересах.

— Навроцкого с Красцевым! — упорствовал Миша.

— Доказательства?

— Они заинтересованы в документах, похищенных у Зимины.

— Документы найдены.

— Да! Где!

— Подкинуты в почтовый ящик Зиминых. Кто подкинул? Опять Навроцкий?

— Не знаю, — растерянно ответил Миша.

— А не могли это сделать твои мальчики?

— Сомневаюсь.

— Подума! Буров выкинул документы из портфеля; они где-то валялись; мальчишки положили их в почтовый ящик!

— Я верю этим ребятам, — сказал Миша.

— Я тоже хотел бы верить, — вздохнул Свиридов, — только одной веры маловато.

34

Свиридов осторожно ждал. Но ведь не случайно сказал: «У Навроцкого такого револьвера не было и нет». И еще: «В ту ночь Навроцкий мирно спал в своей постели». Проверят Навроцкого, но вида не показывает. Даже не захотел говорить со Шнырой и Паштетом, видевшими вероятного убийцу Шаринеца.

Опасается, тантиса, осторожно ждал, сбивает со следа. Обидно немного: Миша мог рассчитывать на большее доверие.

Свиридов ни в чем не поколебал его, ни в чем не разубедил.

На минуту закралась мысль, что Шныра мог подбросить документы в ящик Зиминых по поручению своего отца, кладовщика Панфилова. И все же нет! Шныра — хмуры, замкнутый парнишка, но на подлость не способен.

А ведь кто-то положил документы в ящик Зиминых. Скорее всего, сам Навроцкий — вот, пожалуй; по-вашему, я заинтересован в документах, эн нет, вот они, не из-за документов все произошло, Значит, я ни при чем.

И кто-то видел же его, видел, как он входил в подъезд, младшие классы уже на канюках, ребята целый день околачиваются во дворе, — так и прошел Навроцкий незамеченным?

В одном подъезде с Зимиными жил Саша Панкратов.

Встретил его во дворе, Миша спросил:

— Ты помнишь человека, который вменялся тогда, когда Витка бросался на меня с финкой? Он крикнул сверху, что все видел.

— Конечно, помню.

— Ты не видел: входил он вчера-позавчера в ваш подъезд?

— Нет.

— А Юра не входил?

— Не знаю. Я их видел возле школы.

— Когда?

— Недели две назад.

— Я их тоже видел.

Саша удивленно посмотрел на него

— Как ты мог видеть?

— Их все видели.

— Все не могли сидеть, это было во время уроков.

— Нет, на большой перемене.

— В этот день я был дежурным,— возразил Саша.— Утром, во время лабораторных, Юра вышел на улицу. Я спросил: «Ты куда?» Он ответил: «Передавать ключи отцу». А то был не отец, а этот Тит Иванович.

— Ты не помнишь точно, когда это было?

— Можно посмотреть по журналу дежурств.

— И Юра передал ему ключи?

— Юрка протянул руку, может быть, они просто поздоровались?

— А ты бы сказал: «Урокопатризм отменяется»,— пошутил Миша.— Слушай! Это было не в тот день, когда на учком, помнишь, Генка разбирал стихи Зои?

— Точно! — подтвердил Саша.

Миша вспомнил, как растерялся Юра, когда Генка позвал его на учком, как нервно начал на заседании, вспомнил приход Навроцкого, как быстро пошел ему навстречу Юра, как лотом оставил их вдвоем с Людой, а сам вошел в школу. И ведь никогда, ни до, ни после этого, Валентин Валентинович в школу не приходил.

И самое главное: Юра соврал! Соврал! И кому? Пионеру Саше Панкратову! Будь у него совесть чиста, он не то чтобы оправдываться, объясняться, он бы с ним разговаривать не стал, дал бы челобитную, чтобы видели, как он выходит на улицу, как встречается с Навроцким, и лотом, наткнувшись неожиданно на дежурного, растерялся, хоть дежурным был всего-навсего пионер Саша Панкратов.

Почему хотел скрыть свидание с Навроцким? Ведь на большой перемене он открыто, на глазах у всех с ним встретился. На большой перемене свидание может быть случайным, мало ли кто проходит в это время мимо школы, а во время уроков это свидание заранее условленное, срочное, тайное. Именно поэтому Юра оробел и растерялся перед пионером Сашей Панкратовым, соврал, что идет к отцу. И ключи какие-то припел... Почему именно ключи?

Безусловно, Юра не участвовал в убийстве Зимина, но отношения с Навроцким существуют, близкие отношения. Тогда, на фабрике, он наверняка слышал, что сказал Красавцев Панфилову, слышал, но покрывал Навроцкого.

Стояли жаркие июньские дни. Школа еще функционировала, но как-то не так. Приходили старшеклассники, шли консультации, сдача несданного, все на ходу; учителя, такие вчера строгие, взыскательные, обстоятельные, теперь куда-то торопились; но младшие классы уже на канникула, аудитория пустовала, столовая не работала, в расписании — прогулки, через день-два будут выдавать свидетельства об окончании школы.

Миша остановил Юру и Люду на лестнице. Не хотелось бы при Люде, но другого выхода нет.

— Юра, помнишь историю с вагоном для Навроцкого, ты мне ответил тогда, что не прислушиваешься к чужим разговорам помнишь?

— Я действительно не прислушиваюсь к чужим разговорам.

— Потом я довольно громко сказал Панфилову об этом вагоне, ты тоже не слышал?

— Не помню... Может быть, и слышал, но не существенно, не засоряю ламп.

— Прекрасно! — продолжал Миша.— После случая с вагоном ты, Юра, утром, во время лабораторных, выходил на улицу.

— На улицу? Во время занятий? Может быть... Не помню.

— Ах так... Этим ты тоже не хочешь засорять мозги... Наломно. В этот день дежурил Саша Панкратов. Ты ему сказал, что должен передать ключи от квартиры своему отцу.

— А... Да... Что-то припомню.

— И ты передал папе ключи?

— По-видимому.

— Ты не передал отцу ключи, в этот день твой отец с девяти до часу вел прием в больнице на Басманной и никуда не отлучался.

Юра насмешливо сказал:

— Я думал, что времена Кортика и Бронзовой птицы давно прошли. Оказывается, ты все еще играешь в эти игры. Ну что ж! Да, я выдвинулся в тот день с Валентином Валентиновичем. Больше того, я дружу с ним, ты это точно подметил. Дружбу и горюху этой дружбы, предства себе! Бываю с ним на ипподроме, на бегах, даже играю в тотализатор.

— И выигрываешь?

— Случается.

— Поздравляю.

— Спасибо. Но это — мое личное дело, ни перед кем я не обязан отчитываться. Что касается Саши Панкратова, то ему померещилось. Ни об отце, ни о ключах я не говорил. У него богатая фантазия, у Саши Панкратова.

— Ну что ж,— сказал Миша,— не лучше ли по-другому?

— Что ты имеешь в виду?

— «Часть прав своих в лучину я бросаю, и тем корабль свой спасаю...»

— Не дави на психику! За девять лет мне все это достаточно надоело!

— К тому же, оказывается, ты еще и истерик! — заключил Миша.— Извини, Люда, задержал вас. Счастливо!

35

Н а улице Юра сказал Люде: — Школа окончена, а Миша по-прежнему воображает себя начальником. Смешно на него смотреть.

Люда молча шла рядом с ним. В руках у нее был черный кленчатый портфель, тот самый, из которого он вытаскивал ключи.

Юра покосился на него и продолжал:

— Я разговаривал с Валентином Валентиновичем... Что было с вагоном... Я понимаю, во что Миша ввинчивается... Но какая бестактность — говорить об этом при тебе.

— Действительно, какая невоспитанность!

Что-то странное прозвучало в ее голосе. Люда смотрела прямо перед собой. Обычное ее серьезное, нежное лицо с тонкими стрелочками бровей, каштановые кудряшки, зеленые ладони.

Они шли мимо кондитерской на углу.

— Зайдем в Чрево... — предложила Люда.

— С удовольствием! — ответил Юра, но в душе немало подливался: только что убил отца, а ей хочется пирожного.

Кондитерская была крошечная, как и все подобные частные заведения, налог с которых зависел от их размера. Когда-то, в пятом или шестом классе, Кит съел здесь на спор четырнадцать пирожных, а пятнадцатого съест не смог и, согласно уговору, должен был сам заплатить. Если бы съел пятнадцать, то платил бы Юра — спор был с ним. Денег у Кита не оказалось, хозяин не вынул его из кондитерской весь день, пока ребята собирали деньги и выручили наконец Кита.

С тех пор кондитерская эта называлась Чрево Кита, или просто Чрево...

Люда села за столки. Юра отправился к стойке.

— Тебе каких?

— Одну картошку и один эклер.

— Себе я возьму тоже картошку и наполеон. Он вернулся с пирожными на тарелке и бутылкой лимонада.

— Вкусная картошка, — похвалила Люда.
— Здесь всегда все свежее.

Люда довела картошку, вытерла губы платочком и будничным голосом, будто они продолжают разговор о пирожных, произнесла:

— Теперь, Юра, расскажи мне все.

— Что именно?

Он действительно не сразу сообразил, о чем она спрашивает.

— Расскажи мне то, чего ты не захотел рассказать Мише.

— Я тебя не понимаю, — растерянно пробормотал он.

— Прекрасно понимаешь. Или я неясно выражаюсь?

Она смотрела на него своими зелеными глазами, и он вдруг ощутил страх перед ее твердым, холодным, выжидающим взглядом... Неужели знает о клоках? Откуда? Валентин разоткровенничался? Не может быть.

— Повторяю тебе: я не понимаю, о чем ты спрашиваешь.

— Я спрашиваю про историю с вагоном.

Слова богу...

— Люда, и ты о том же... Господи, обыкновенная фабричная история: дают вагон, не дают вагон, грузят, разгружают, отпускают, отменяют, один успел отправить, другой не успел, Валентин Валентинович успел, Мише Полякову это не нравится, что тут поделаешь?... Ей-богу, не ломай над этим голову, это так несущественно. Хочешь еще пирожного?

— Спасибо, у меня есть. Значит, об этом ты не хочешь говорить.

— Нет, почему, если тебе угодно...

— Ты не хочешь говорить, — повторила Люда четким голосом, каким обычно отвечала уроки, — ты не хочешь говорить, и я не настаиваю. Второй вопрос: зачем во время лабораторных к тебе приходил Навроцкий?

Она сказала не «Валентин Валентинович», а «Навроцкий». И как смотрит! Никогда не видел ее такой. Черт возьми, знает она о клоках или нет?

— Люда, а почему ты меня допрашиваешь?

— Я тебя не допрашиваю. Допрашивать тебя будут в другом месте. Я с тобой беседую, всего лишь. Миша, по-твоему, продолжает свои игры. Возможно. Но для меня игры кончены: у меня убили отца.

Черт возьми, как она смотрит! Сумасшедшая, честное слово!

— Не меня ли ты подозреваешь в этом?

— Юра, в последний раз: зачем ты выходил к Навроцкому?

Опять она говорит «Навроцкий»!

Юра отодвинул тарелку, лимонад, поставил локти на стол.

— Честное слово, ты чудачка! Хорошо! Я не хотел, не имел права говорить, я связан честным словом. Но поскольку ты придаешь этому такое значение, я скажу: Валентин Валентинович говорил со мной о наборе.

— О каком наборе?

— Косметическом, который он преподнес твоей маме.

— Он не преподносил маме никакого набора.

— Как это?!

— Он не преподносил маме никакого набора.

— Да ты что?! Он его подарил, причем довольно оригинальным способом.

— Подарил... Оригинальным способом... Набор... Как ты думаешь, могла моя мама взять от него какой-то подарок? С чего ты взяла? Он тебе сам это сказал?

Юра ошеломленно смотрел на нее.

— Я у тебя спрашиваю: он тебе сам это сказал?

— Видишь ли... — Юра лихорадочно обдумывал, что ему сказать; он все начинал понимать, начинал догадываться. — Ты меня вынуждаешь говорить такие вещи. Он не сказал, что подарил, он сказал, что хочет подарить, и хотел это сделать через меня...

Люда молча слушала.

— Ну вот, — продолжал Юра, — я, естественно, отказался — все же, признайся, несколько щекотливое предложение... Тогда он сказал, что делает это сам. Вот и все.

— А что за оригинальный способ?

— Ну, он так сказал... «Это будет оригинально» — вот так он сказал...

— Нет, я слышала слово «способ»...

— Возможно, я оговорился... Ты ведь знаешь, он любит такие «изящные» обороты...

— Твои объяснения меня не удовлетворяют, ты не договариваешь.

— Ну знаешь... Я тебе все сказал, даже больше, чем следовало.

36

С неумолимой ясностью Юра вдруг осознал, что совсем еще понятную, но безусловную связь между ключами и тем, что произошло в семье Зимних. Как бы далеко ни отстояло одно от другого, какова бы ни была истинная роль Валентина, все равно он, Юра, соучастник и чего-то страшного, ужасного, может быть, именно он открыл убийцам дверь.

Страх перед возмездием охватил его. И страх перед Валентином Валентиновичем: этот человек не остановится ни перед чем, убьет его так же, как убил Зимина.

Ни о чем не спрашивать, не выяснять, не расспрашивать, не ходить к Валентину, отойти в сторону, пожать, отговориться тем, что готовится в институт... Мысль! Уехал на дачу готовиться к экзаменам. Валентин не посмеет явиться на дачу, незнаком с его родителями. Так постепенно все забудется.

Нет, не забудется. Витка арестован, идет следствие, и влез Миша Поляков, что-то подозревает Люда. Доберутся до Валентина, доберутся и до него.

А может быть, он все выдумывает, может быть, ничего нет? Валентин — убийца? Невозможно!.. Все невозможно!.. Спешат прохожие, грохочут трамваи, дребезжат пролетки, все как всегда. Он причастен к убийству! Не может быть! К Валентину

немедленно, не откладывая, он все объяснит, расскажет, успокоит...

С замирающим сердцем нажал он кнопку звонка. Там, за дверью, его судьба.

В сетке, туго стягивающей влажные блестящие волосы, Валентин Валентинович был похож на молодого человека с рекламы туалетной воды «Вежетьяль». Скользнул взглядом по Юре.

— Чем ты взволнован?

— Почему?... Шел из школы, зашел...

Окно открыто. При открытом окне Валентин ничего с ним не сделает. Шум двора прибавил Юре смелости.

— Миша Поляков все время пристает ко мне с вагоном, помните, что тогда отправили?

— Он и ко мне с этим привязывался, — ответил Валентин Валентинович небрежно. — Ну и что?

— Я просто так рассказываю...

— Ах, так? Ну, рассказывай!

— Вот и все!

— Может быть, не все?

Он даже не предложил ему сесть. Развалился в кресле, пощипывает ногой, легонько трогает сетку на голове.

— Видите ли, — неуверенно начал Юра, — у нас такой порядок: во время занятий нельзя выходить из школы.

— Такой порядок во всех школах.

В других школах есть гардеробницы, они запирают двери, а у нас самообслуживание, ключ в дверях, ставка на сознательность.

Валентин Валентинович покачивал ногой, трогал повязку на голове.

— Когда я выносил ключи, — продолжал Юра, — меня заметил дежурный по школе и доложил Мише Полякову.

— Почему именно ему?

— Он председатель учкома.

— И ему докладывается каждый такой случай?

— Когда как...

— Дежурный видел тебя, но разве он знает меня?

— Да, он живет в нашем доме и знает вас.

— Как его имя?

— Саша... Саша Панкратов.

— И видел, что ты передал мне ключи?

— Нет, он не видел.

— Что же тебя беспокоит? Мы с тобой не скрываем нашего знакомства. Выходил во время уроков... Тебя за это накажут?

— Просто я хотел вам сказать: Миша Поляков связывает факты против вас.

— Зачем?

— Мне кажется... Он даже так говорит... Вагон он связывает с документами, которые похитили у Зимины.

Валентин Валентинович поднял красивые, тонко очерченные брови.

— Большой криминалист! А с убийством Зимина он этого не связывает?

— Не знаю.

— А ты?

— Что я?

— Ты связываешь вагон, то есть, будем прямо говорить — меня с кражей документов и с убийством?

— Что вы, Валентин Валентинович, как вы можете даже спрашивать про это?

— Слава богу!

Валентин Валентинович подошел к зеркалу, осторожно, обеими руками снял сетку с головы, расче-

сал волосы, чуть-чуть подбил, чтобы не выглядели прилизанными, положил повязку на туалетный столик, не оборачиваясь, бросил:

— Что стоишь? Садись.

Юра сел на диван.

Валентин Валентинович повернул голову в одну сторону, в другую, любуясь прической, потом подошел к окну и закрыл его.

Юра обомлел. Этого он боялся больше всего. Но ни подняться, ни двинуться с места не мог.

Валентин Валентинович снова уселся в кресло, подтянул брюки, закурил папиросу, выпустил длинную струю дыма.

— Ну, рассказывай!

— Что?

— Что тебя привело ко мне?

— Видите ли, — робко проговорил Юра, вцепившись в диван и пытаясь таким образом унять или хотя бы скрыть дрожь пальцев, — Люда мне сказала, что косметический набор вы ее маме не дарили.

— Ну и что?

— Ведь для этого вы взяли ключи.

— Да, для этого я взял ключи. Но когда я тебе говорил, что вошел в квартиру и положил набор? Говорил я тебе это?

— Нет, не говорил.

— Так вот... Я не заходил в квартиру. Не решился. А тебе не казался, не хотел выглядеть перед тобой трусом. Походил, походил вокруг дома и не зашел. Слаб человек! И слава богу, что я этого не сделал! Вот это действительно наше с тобой счастье. Понимаешь, как бы мы выглядели после всего, что произошло потом! Таким образом, вся эта глупая затея — а я теперь вижу, что она глупая! — кончилась ничем. Все это пустяки, и история с ключами — пустяки. Какое имеет она отношение ко всем последующим событиям? Зимина убили через две недели после того, как ты дал мне ключи. И ключи были у меня ровно полтора часа — так ведь?

— Да, так.

— Успокоился ты на этот счет?

— А я и не беспокоился.

Может быть, Юру и не удовлетворили объяснения Валентина Валентиновича, что-то странное в этой истории... Но его успокоил вид Валентина Валентиновича, его безмятежность, то, как аккуратно делал он прическу, сминал сетку с головы. Человек, над которым тяготел подозрение в убийстве, не может так тщательно укладывать волосы.

— Прекрасно! — Валентин Валентинович переложил ногу на ногу. — А теперь мне интересно знать, как у тебя с Людью возник разговор о косметическом наборе?

К этому вопросу Юра был готов, ожидал его. И хорошо понимал: ни под каким видом не должен признаваться, что речь шла о ключах; этого Валентин ему не простит, о ключах никакого разговора не было.

— Видите ли, Миша Поляков спрашивал, зачем я выходил к вам во время уроков. Спрашивал при Люде. Я, естественно, отказался отвечать: какое его дело! Вообще, он все время говорил о вас. Потом мы с Людью вышли на улицу и продолжили разговор.

Валентин Валентинович пристально смотрел на Юру.

— Ты ей что-нибудь сказал о ключах?

— Что вы!! — воскликнул Юра с негодованием, совершенно искренним потому, что говорил прав-



ду.— Ни о каких ключах я ей не говорил, о ключах даже речи не было.

— А Мише или еще кому-нибудь ты говорил о ключах?

- Никому.
- Ты правду говоришь?
- Абсолютную.

То, что он сказал Саше Панкратову насчет каких-то ключей для папы, не имеет ровно никакого значения. Не надо еще больше запутывать историю.

— Твой Миша — большой болван и реанует меня к своей циркачке, — сказал Валентин Валентинович. — Вот источник его недружелюбия. Допросы его не стоят выеденного яйца. И вся история с ключами не стоит выеденного яйца. Для нас с тобой это была

шутка, к тому же неосуществленная. Но после трагической гибели Николая Львовича, естественно, ни один следователь не может, не имеет права равнодушно отнестись к тому, что ты взял из портфеля ключи от его о квартиры. И этот факт, если им заинтересуются, может толкнуть следствие на ложный путь. Этого не следует допускать. Если ты проболтался о ключах — нас ждут осложнения, мы должны быть к ним готовы. Поэтому будь со мной открыт, это очень важно, предупреждаю тебя. Скажи честно: ты говорил кому-нибудь о ключах?

Все ясно! Врет! Ни одного слова правды. И Юра твердо ответил:

— Никому!

— Хорошо! И никому об этом ни слова. В наше время шутить не любят и шуток не понимают. Н з

ша шутка с ключами может обернуться катастрофой. Для нас обоих. Ты меня понял?

— Прекрасно.

— Кстати, кончил ты уже школу или нет?

— Вроде бы кончил.

— В мое время окончание гимназии было событием. Что-то дарили. Например, путешествие в Италию или Египет.

— Я предположил бы в Индию, страну чудес,— рассмеялся Юра.

37

«Нас ждут осложнения» — вот главное, что сказал Валентин. Все остальное — ложь; сетка на голове — мишура, притворство.

Возможно, Валентин не убийца, даже вероятно не убийца, но аферист — наверняка. И попадется. Юра не намерен гибнуть вместе с ним. Нат, дорогой Валентин Валентинович, это вас ждут осложнения, а не меня. Я готов разделять с вами компанию в ресторане, пить за ваше здоровье, вместе с вами выигрывать на бегах... но разделять с вами скандальную подкудных я не намерен. У меня, знаете ли, впереди жизнь, об этом вам следовало подумать, когда вы втянули меня в сомнительную махинацию с ключами. Сюрприз, шутка — как мило, как очаровательно. Дурачок развесил уши... Ошибаетесь, не такой уж дурачок!

Этот дурачок не будет ждать, когда его привлекут как соучастника, он предпочитает быть свидетелем.

Но спокойно, без горячки! Не говорить о ключах. Зачем? Никто не видел, как он их брал, Валентин никогда не признается, что воспользовался ключами, вообще будет все отрицать: документов не крад — был с Зимиными в театре, не убивал — был с Мишей в церкви.

Значит, остается афера на фабрике. Об этом он честно рассказывает.

Подозновато, конечно. Ничего!

Кому рассказать? Следователю? Страшно туда идти. Один раз придется — потом затаскают. И следствие идет об убийстве инженера Зимина; если Юра придет туда, то он как бы соединит аферу с убийством, то есть обвинит Валентина в убийстве. Этого делать не следует. Надо об афере рассказать Мише Полякову. Он еще председатель учкома и занимается этим делом, интересуется. И пусть Миша сам думает, что делать с его признанием. Если доберутся до Валентина, а через Валентина до него, то, пожалуйста, — он сам все рассказал в школе, в учкоме, товарищу... Эм Полякову.

Но товарищ Эм Поляков не поверит в его искренность, будет что-то выуживать, выпысывать... Пойти к Генке? Еще хуже! Из этой троицы только Славка — единственный интеллигентный, порядочный человек. Он не учится в школе, но все равно состоит в школьной ячейке, ходит на комсомольские собрания. В случае чего, Славка подтвердит, что он никого не покрывал и ничего не скрыл. А если и откажется отвечать Мише, то только потому, что Миша грубо и пристрастно допрашивал его, а ведь он, Юра, не подследственный. Рассказать Славке — значит рассказать Мише Полякову. Миша все это и предназначено.

Придя к Славке, Юра рассказал об отправке того вагона, рассказал точно так, как оно было на самом деле.

— Ничего нового, — ответил Славка, — это подтверждает и сам Навроцкий.

— Да? Кому же он это подтверждает?

— Мише Полякову.

Странно! Они ведут такие разговоры?

— И чем Навроцкий это объясняет? — спросил Юра.

— Тем, что не хотел упустить свою партию товара.

— Я тоже сначала так подумал, — усмехнулся Юра, — но фокус в том, что это был товар первого сорта.

— Эта афера тоже всем ясна. Вопрос в том, насколько она связана с убийством. Могли они убить, как ты считаешь?

Юра пожал плечами:

— Валентин Валентинович был с Мишей в цирке. Убить Зимина? Смешно! Он дружил и дружит с его семьей. Он не грабитель, не убийца, просто делец.

— А вот некоторые считают, что Навроцкий причастен.

— Эти «некоторые» — Миша Поляков, — усмехнулся Юра. — А вот Навроцкий считает, что Миша ревнует его к Эллен Буш.

— Он тебе это говорил?

Юра смеялся: что-то сболтнул лишнее.

— В общем, я так понял...

— Юра, зачем ты пришел ко мне?

— Шел и зашел...

— Я что-то не помню, когда ты последний раз заходил. Я вообще не помню, заходил ли ты ко мне когда-нибудь. Говори прямо: что-нибудь угрожает Мише?

— Что ты?! — растерянно пробормотал Юра, пораженный тем, что Славка заговорил об опасности. Опасность ощущает и он, опасность грозит всем, — Я просто хотел рассказать тебе то, что рассказал. Ты удивляешься, почему именно тебе? Миша разговаривает со мной, как прокурор, а я этого не люблю, потому и рассказал тебе, его другу.

— Ничего нового я от тебя не узнал.

— Других новостей у меня нет, — ответил Юра.

38

Свидетельства об окончании школы выдавала секретарь, печати ставила зауч, пожимала руку, поздравляла. Буднично и просто. Договорились о выпускном вечере. Юру это не интересовало — обойдется без выпускного вечера с жидким чаем, дешевыми конфетами, громкими разговорами. Вечный барабанный бой! Сегодня он уезжает на дзуч.

Все, что надо, он сказал Славке, он теперь в порядке; если понадобятся — пусть ищут. И Валентин пусть ищет, только вряд ли найдет... Всеобщий привет!

Но как только Юра вернулся из школы, Валентин позвонил и попросил зайти. Видел из окна, как Юра пришел. Следит, не отпускает. Опять этот мрак...

Валентин Валентинович встретил его, как именинника.

— Поздравляю!

С чувством пожал руку, жестом пригласил сесть.

— У меня для тебя подарок...

Он протянул руку к конурту на столике, открыл, вынул железнодорожный билет.

— Билет до Одессы, там сядешь на пароход до Батума, вот билет на пароход... Морская прогулка с заходом в Севастополь, Ялту, Новороссийск, Туапсе и Сухум. Этим же пароходом вернешься в Одессу, а оттуда в Москву. Здесь, — он притворил конверт, — деньги на путешествие. Ну как, пока заменит Индию? Ехать сегодня. Поезд отходит с Брянского вокзала в девять часов вечера. Ты, конечно, успеешь собраться!

Все ясно, ловушка! В Одессе или в Батуме его убьют, у Валентина всюду люди, выбросит из поезда, скинут с парохода. Но не получится, милый Валентин Валентинович, не выйдет ваш номер на этот раз.

— Не могу. Завтра выпускной вечер.

— Какие сантименты, кому это нужно? Променять такую поездку на выпускной вечер?

— Что я скажу дома?

— У вас в школе каждый год экскурсии.

— Мама поедет меня провожать, а на вокзале никого нет.

— Уговоришь не провожать? — ты не маленький, скажешь, что никого не провожают.

Как у него все легко получается! Неужели он просто глуп?

Нет, хуже, он примитивен, ordinarily примитивен. Все его аферы и махинации примитивные, он запутался в них, он барахтается.

— Мне надо поступать в вуз.

— Прекрасно. Поездка займет двенадцать дней. Загорелый, пропитанный морским воздухом, проселенный морской водой, сильный, красивый, ты успешно сдашь экзамены.

— Мне неудобно принимать от вас такой подарок.

— Ерунда! Я в выигрыше, и мне приятно преподнести тебе небольшой сюрприз.

Юра передернуло. С косметическим набором тоже был «сюрприз», чем он кончился? Так же Валентин надеется закончить и этот «сюрприз». Не удастся!

— Билеты, как ты понимаешь, я приобрел не сегодня, — продолжал Валентин Валентинович, — о сложностях умалчиваю, чтобы не набивать себе цену. Я понимаю: тебе впервые предстоит такое большое и самостоятельное путешествие. Но, дорогой мой, «не пора ли мужичью статью!» — Он поднялся. — Жду тебя на вокзале в половине девятого, там я вручу тебе билет и деньги; поскольку ты едешь с классом, то ясно, что у тебя их на руках быть не должно. Можно, конечно, и не делать из этого секрета, но не следует забывать, что я скромный агент, откуда у меня деньги на такие подарки?.. Итак, напоминаю: в половине девятого на Брянском вокзале.

Люда и Ольга Дмитриевны знают адрес и телефон следователя, но признаются им о ключах — выше его сил.

Остается один путь, все тот же, через Славку с Мишей, через Мишу со следователем. И пусть с него возьмут подписку о невыезде. Одесса, Сухум, Батум — чудесно! — а вот не могу, не имею права. Витка Буков чего-то на меня напел, чепуху каютуют, сидит в тюрьме, делать ему нечего, вот и выдумывает, следователю этой чепухе не верит, а взял подписку о невыезде.

Спасибо за билет, за заботы, за «сюрприз», но обстоятельства сильнее нас.

Если Валентина посадят, он в безопасности. Если Валентин ни при чем, никого не убивал, то и его он тоже не убьет, опять он вне опасности.

Благородно или неблагородно он поступает? Исторический вопрос. Благородство — понятие условное. А красть ключи — благородно? Говорить о сувенире, когда никакого сувенира не преподносишь, — благородно? Получать первый сорт под видом брака — благородно? Посылать его в Батум на смерть — благородно? Помолчим лучше о благородстве!

39

Славка не хотел ввязываться. К таким делам он теперь равнодушен. Романтика кончилась. Не была ли эта романтика всего лишь детством, милым, увлекательным, мечтательным? Кто-то украл вагон? Вагоны крадут десятками и сотнями. Кто-то взяточник? Все взяточники. Кто-то запутался в афере! Ну и что! Миша — хороший парень, но он отстал, застрял в том самом, милом, увлекательном, мечтательном детстве. Он не так прямолинеен, как Генка, но оба они живут в прошлом: время изменилось, они — нет.

Однако приход Юры заставил его задуматься. Юра дрожит от страха, это ясно!

Угроза нависла над Мишей — вот что понял Славка. Миша в опасности, ввязался в дело, где убивают, хочет вырвать Витку Букова, своего злейшего врага, потому что, по его, Мишиному, убеждению, Витка невинен.

Миша всегда ввязывался и будет ввязываться в такие истории, вечно будет искать справедливости. Он не знает страха — поразительный человек! Ему нужно открытое небо, а не крыша над головой. Суровый, непреклонный Миша Поляков защищает Витку, а он, добрый, мягкий, отзывчивый Славка, не защищает, устранился, умыл руки. Это очень хорошо и удобно: пережить собственную скорбь и устранился от чужих несчастий.

Почему?

Что с ним случилось?

Ушла мать? У Генки мать умерла, он много лет живет у тетки, Миша Поляков всю жизнь прожил без отца.

Вынужден зарабатывать? Разве мало ребят работает на производстве?

Раньше он жил гораздо лучше своих товарищей, они жили бедно, голодно, но не ныли, не жаловались, не падали духом.

Почему Юра пришел к нему, а не к Мише? Потому что подоку Юре он ближе, чем Миша. Печально, но факт. Они оба видят только одну сторону жизни. Разница лишь в том, что Юра ее принимает, а он, Славка, нет.

Результатом этих размышлений была встреча, на этот раз — у Миши. Славка и Генка просто пришли к нему. Никакого объяснения не потребовалось. Они были и остались друзьями, ничто не могло их разъединить. Они снова вместе, снова занимают одним делом — этого достаточно.

— Юрка зря не появится, — сказал Миша, — только беспокоится он за себя.

— Может быть, его Новороссийск подослал, — сказал Генка.

— Он на грани откровенности, — сказал Славка.

— Но как заставить его говорить?

— Скажать Сандрову, — предложил Генка, — пусть вызовет.

— Я пробовал давать Свиридову советы, — сказал Миша, — он меня быстро наладил... Нужно, чтобы Юра сам пришел к нему.

— Разве его уговоришь?
Раздался звонок, кто-то вошел в квартиру, посту-
чал в Мишину комнату.
— Войдите! — крикнул Миша.
Открылась дверь, и на пороге появился Юра, ог-
лядел всех.
— Привет!
— Привет!
— Все в сборе, — сказал Юра, — вот и прекрасно.
Я давно ждал случая, когда вы будете вместе. У
меня есть кое-что вам рассказать...

40

После показаний Юры Свиридов, рассказывая
по кабинету, говорил Мише:

— В чем была неясность? Шаринец — мелкий
карманный воришка, естественно, связан с карман-
никами высшего класса — маразихерами, на их язы-
ке. Воры придерживаются своей специальности, со-
вершенствуются, достигают виртуозности. Было со-
мнительно, что профессиональные маразихеры пы-
тались ограбить квартиру, — у них не бывает даже
отмычек. Юра выкрал ключи — все встает на свое
место. Ключи были вручены Шаринцу...

— Они были у Навроцкого час-полтора, не боль-
ше, — заметил Миша.

— Вполне достаточно, чтобы в любой слесарной
мастерской изготовили такие же. Итак, Навроцкий
вручил ключи Шаринцу. Но в чем была его задача,
пока неясно. Выкрасть документы? Они ему не нуж-
ны — товар отправлен, и проверить ничего нельзя.
Убить Зимица? Совсем нелепо, бессмысленно. Лад-
но! Разыщи своих мальчишек и тащи их ко мне. И
побыстрее!

Через час Миша был у Свиридова со Шнырой и
Паштетом.

Свиридов указал Паштету на стул у стены:

— Посиди в сторонке, а ты, Леня Панфилов, сядь
возле меня и отвечай.

Свиридов разложил на столе фотографии.

— Ты бы узнал человека, с которым Шаринец вы-
шел из пивной?

— Узнал бы, пожалуй...

— Есть он здесь?

Шныра просмотрел фотографии, указал пальцем
на одну:

— Думаю, этот.

— Точно?

Шныра еще раз просмотрел фотографии.

— Думаю, он.

— Еще кого-нибудь из этих ты видел?

— Нет.

— Посмотри как следует, подумай, вспомни!

Шныра еще раз просмотрел фотографии.

— Нет.

— Сядь на место Паштета, а ты, Паштет, сядь сю-
да.

Шныра и Паштет поменялись местами. Свиридов
смеялся фотографии, разложил их в другом порядке.

— Покажи, с кем Шаринец вышел из «Гротеска»?
Паштет показал на того же, на кого показывал и
Шныра.

— Кого еще из этих людей ты видел?

Паштет показал на пожилого человека, несколько
обрюзгшего, с тяжелым взглядом.

— Вот этого.

— Когда? Вчера? Позавчера?
— Раньше.
— Где?
— Во дворе, где бутылки принимают.
— Он бутылки сдавал?
— Нет, проходил через двор. Пивная рядом со
складом, в заборе проход... Я его раза два видел.
Свиридов подзвал Шныру, показал фотографию.
— А ты его видел?
— Нет, не помню.
— Он видел, а ты не видел?
— Шныра старика заговаривал, — объяснил Паш-
тет, — а я в очереди стоял, по сторонам смотрел,
вот и видел.

— Ладно! — Свиридов собрал со стола фотогра-
фии, положил в ящик. — Обождите в коридоре, ре-
бята, а ты, Миша, задержись.

Шныра и Паштет вышли.

— Я верю этим ребятам, — сказал Свиридов, — и
все же прощаю: сегодня они ни с кем не входят в
контакт, никому не рассказывают, что были у меня
и опознали этих людей.

— Будете брать? — догадался Миша.

— Возможно. Займи ребят чем-нибудь.

— Я предпочел бы участвовать

— Исключено. Может не обойтись без стрельбы.

— Тем более хотелось бы.

— Я не успею оформить твоё участие. Зато обе-
щаю, что ты будешь присутствовать на их допросе,
большого не могу — закон.

41

Трибуны были пусты, на манеже тренирова-
лись артисты.

— Посмотрите, вам будет интересно.

Эллен усадила в первом ряду Шныру и Паштета,
а сама с Мишей села поодаль.

— Ты не узнавала насчет этих ребят? — спросил
Миша.

— Я говорила... Но поздно. В цирке начинают с
трех-четырех лет.

— Не все вырастают в цирковой семье.

— Наша работа сложнее, чем ты себе это пред-
ставляешь...

— Почему... Я представляю...

— Тебе хочется пристроить этих ребят к делу, так
ведь? — продолжала Эллен. — Но в цирке нужны из-
вестные способности, даже одаренность или трени-
ровка с самого раннего детства.

— Все понял! — сказал Миша. — И больше не на-
стаиваю. Извини, что навязался с таким делом.

Они сидели на пустых трибунах, смотрели на тре-
нирующихся артистов.

— Скоро мы уезжаем на гастроль, — сказала Эл-
лен.

— Куда?

— В Мурманск.

— Лучше бы на юг.

— Нет, там сейчас хорошо, весна... Я люблю ве-
сну. Иногда мне хочется уехать туда, где весна на-
чинается еще в феврале, куда-нибудь в Туркестан
или Закавказье. А потом вместе с весной двигаться
на север, переезжать из города в город... Мы,
цирковые, вечные скитальцы.

— Ты хочешь сказать, что я тебя могу видеть раз
в три года?

— Я не это имела в виду,— уклончиво, как показало Мише, ответила Эллен.— Но моя жизнь — это ездить, работать и улыбаться.

— Действительно, почему ты все время улыбаешься? В театре актеры тоже раскланиваются, но не улыбаются.

— Нелепо было бы улыбаться Гамлету или королю Лирю,— возразила Эллен,— а мы веселим зрителя. Даже если я чуть не разбилась, я должна улыбаться: все хорошо, прекрасно, весело и удачно. Вот мы и улыбаемся... Слушай, этот дяденька, который тогда бросил мне букет, а потом явился за куписы с комплиментами... Ты знаком с ним?..

— Да, а что?

— Артист погорелого театра! Передай ему, чтобы он больше не посылал мне цветов.

— С удовольствием,— согласился Миша, хотя совсем не представлял себе, как он это скажет Навроцкому.

— Ты останешься с ребятами на представление? — спросила Эллен и встала.— Сегодня будут Бим-Бом, Виталий Лазаренко, останешься?.. Хорошо, посиди, я схожу за контрамарками.

42

В то время, когда Миша со Шнырой и Паштетом досматривали в цирке представление, Смоленский рынок был погружен в темноту. Темно было и в прилегающих переулках, здесь рано ложились спать, рано вставали — рынок начинался с рассветом. Только тускло светились завешанные окна «Гротеска» и, когда открывались двери, доносился оттуда приглушенный шум голосов, стук пивных кружек, женский смех, обрывки песен.

Свиридов велел своим людям подходить по одному, с разных сторон, так, чтобы в десять вечера оказывался у «Гротеска», трое — у главного входа, трое — у заднего, во дворе.

Ровно в десять Свиридов открыл дверь и с двумя сотрудниками вошел в «Гротеск».

Вид людей в кожаных куртках, остановившихся у дверей, не оставлял сомнений в том, кто они такие. Все смолкло. Оборвалась песня в углу, застыл официант с кружками в руках, игроки прикрыли карты кто ладонями, кто локтями, смолкли парни и накрашенные девицы.

Тишину разорвал истеричный женский крик:

— Обваля!

Крик оборвался, все молчало.

— Никому не вставать! — приказал Свиридов. — Официант!

— Слушаю! — ответил официант, продолжая держать в каждой руке по четыре кружки, наполненные пивом.

— Иди вниз, скажи Василию Ивановичу, Серенькому и всем, кто там есть, чтобы выходили.

— Слушаю. Будет исполнено.

Официант поставил кружки на стойку, вытер руки фартуком и ушел за занавеску.

В заднем помещении «Гротеска», в полуподвале, за столом сидели четверо, на столе лежали карты и деньги.

— Василий Иванович,— сказал официант,— велели вам выйти.

Василий Иванович был человек лет пятидесяти, хорошо сохранившийся для своих лет, с красивой седой на висках, с прямыми, несколько тяжелым взглядом, гладким лицом, плотный, физически видный, очень сильный.

— Сколько их?

— Трое.

— Скажи, сейчас выйдем. Иди!

Официант поплотился и вышел.

Василий Иванович протянул руку, открыл заднюю дверь. Полоска света упала на узкую крутую лестницу.

Сверху раздался голос:

— Выходи по одному. Кто выйдет с оружием, будет застрелен на месте.

Василий Иванович закрыл дверь.

— Вот сволочи, не дали банк додержаться, а какая карта шла!

43

Дело сложное,— сказал Мише Свиридов.— Главный — Василий Иванович, аристократ...

— В каком смысле?

— Не граф, не князь, а мараudier, карманник высшего класса, вытаскивает бумажники у сопидных подей. Серенький — тот, что выходил с Шаринцом из «Гротеска», — помощник Василия Ивановича. Что касается Шаринца, то он и вовсе был меккий воришка, вытаскивающий из карманов все, что попало, вплоть до носовых платков... Так вот: в прошлом году, — продолжал Свиридов, — Василий Иванович, как злостный рецидивист и социально опасный элемент, получил пять лет. Но сбежал. Сомнительно, что после побега он пойдет на такое нелепое убийство, каким представляется убийство Зимина. Обычно после побега они отсиживаются в закутке. И не мог он сменить свою зловещую профессию на другую, к тому же еще более опасную: он не молод. В общем, против него улики никакие. Единственная наша улика — Шаринец. Мы должны доказать, что убил его Серенький, они вместе вышли из «Гротеска». Вот расписание дачных поездов по Брянке. Если предположить, что они выехали поездом шесть пятнадцать, а вернулся Серенький поездом восемь сорок пять, то он должен был отсутствовать в «Гротеске» минимум часа три-четыре, где-то между пятью и девятью. Твои мальчишки утверждают, что он вышел вместе с Шаринцом и сел с ним на трамвай. А вот Василий Иванович и еще человек двадцать постоянных посетителей «Гротеска» будут утверждать, что Серенький нигде не выходил. Вот так-то, друг Миша. И все же надо начинать.

Серенький был ничем не примечательный человек, которого этой особенностью наградили и природа и многолетняя привычка быть незаметным, безликий, инертный, сонный. Миша поразился тому, что Шныра и Паштет узнали его на фотографии. Даже трудно определить возраст. Лет двадцать пять, а может быть, и тридцать пять.

Свиридов записал в протокол его настоящую фамилию, имя, отчество, год и место рождения и тому подобное, потом спросил:

— Что вы можете сказать по поводу убийства гражданина Попова Владимира Степановича, он же Шаринец?

Серенький пожал плечами:

— Ничего не могу сказать. А его разве убили?

— Вы об этом не знаете?

— Не слышал об этом.

— Вы были с ним знакомы?

— Знал, есть такой Шаринец, видел раза два в «Гротеске».

Он так и скажет: «Гротеск».

— Вы были с ним знакомы?

— Ну как? Как со всеми.

— А где вы были шестого июня вечером?

Серенький подумал, неуверенно сказал:

— В «Гротеске», наверное, да, точно, в «Гротеске».

— Что делали?

— В карты играл.

— С кем?

— С людьми, с теми, кого вы со мной забрали.

— А ночью где были?

— Дома спал.

— Кто может подтвердить?

— Кто... Мать, жена, соседи.

— А инженера Зимины вы знали?

— Зимины... Инженеры... Нет, не знал... Кто такой?

— На Арбате жил, дом пятьдесят один.

— Не знаю такого.

— Нароцкого Валентина Валентиновича знаете?

— Кто такой?

— Агент по заготовке мануфактуры.

— Не знаю...

Подписывая протокол, Серенький спросил:

— За что забрали-то?

— Подозреваете в убийстве Шаринца.

— Вот еще новости! Кому он нужен, ваш Шаринец?

— Не наш, а ваш,— сказал Свиридов.— Идите, я вас еще вызову.

Вместо Серенького появился Жоржик, красивый молодой человек с густой черной шевелюрой, похожий на армянина. Он подтвердил все, что говорил до него Серенький. Да, играли в тот вечер в карты, Серенький никуда не уходил, об убийстве Шаринца не слышал, о Зимине и Нароцком ничего не знает. Также спрашивал, за что его взяли, но в отличие от Серенького держался живо и свободно. И совсем не был похож на вора.

Наконец, ввел Василия Ивановича. По сравнению с Сереньким и Жоржином он действительно выглядел аристократом.

— Садитесь!

— Можно и сесть,— Василий Иванович свободно уселся на стул.— Может, сразу скажете, на сколько усаживаете?

— Срок-то уж, во всяком случае, придется отсчитывать.

— Не без этого,— вздохнул Василий Иванович.

Он показал на Мишу:

— Позвольте спросить: кто этот гражданин?

— Практикант.

— Попрошу отметить в протоколе.

— Отметим.

Серенький и Жоржик не обратили внимания на Мишу, а Василий Иванович потребовал даже отметить в протоколе.

— Приступим к делу,— сказал Свиридов.— Речь идет о некоем Попове, он же Шаринец. Знали такого?

— Как же, знаю, видел в «Гротеске».

В отличие от Серенького и Жоржика он правильно произносил название пивной.

— Разговаривали с ним?

— Был у меня как-то, напрашивался на работу, только я ведь ничем теперь не занимаюсь, прошу участь. После побега ничего за мной нет, хотел начать новую жизнь — жалко, помешали.

— Когда Шаринец к вам приходил?

— Несколько дней назад.

— Точнее, пожалуйста!

— Три... нет, четыре дня назад.

— Шестого июня!

Василий Иванович поморщил лоб, задумался...

— Может, и шестого... Я ведь там, вроде льва в клетке, отсиживался и числа все перепутал. Какое сегодня число?

— Двенадцатое.

— Значит, в четверг, именно, значит, шестого числа.

— Ну, о чем вы говорили?

— Играли мы в карты, вся, значит, компания, которую вы теперь здесь кормите. Шаринец зашел, говорит: «Василий Иванович, возьми меня с собой». Я ему: мол, сам завязал и тебе советую. С тем он и ушел.

— Один ушел!

— Один.

— Умный вы человек,— сказал Свиридов.

— Благодарю.

— Только меня дураком считаете.

— Что вы, гражданин следователь,— обиделся Василий Иванович,— я вас считаю человеком редкого ума. И потому все как есть чистосердечно рассказываю. Да, убежал из-под стражи. Кому свободы не хочется? Только замечать, убежал без применения силы, никто не содействовал, зевнул охрана, я и ушел. Хотел новую жизнь начать. Год прошёл, что за мной замечено?

— Кто Шаринца убил?

— Шаринца?! — поразился Василий Иванович.—

Разве его кто убил? Когда? Где?

— Шестого числа вечером, в лесу, недалеко от платформы «Двенадцатая верста» по Брянке.

Василий Иванович развел руками.

— Это, извините, новость. Кому он был нужен, Шаринец, шлеппер — несерьезный человек?

— Инженера Зимины вы знали?

— Простите, как вы сказали?

— Зимины Николай Львович, инженер, Арбат, дом пятьдесят один. Его убили и унесли портфель с бумагами.

— Ах, портфель с бумагами унесли, и убили. Знаю, как же!

— Откуда знаете?

— Как откуда? В газетах писали.

— Газеты читаете?

— Обязательно. Отдел суда и происшествий — особенно.

— Нароцкого Валентина Валентиновича знаете?

— Кто?

— Нароцкий Валентин Валентинович.

— Нет, не знаю такого.

— Подумайте.

— Что-то не припомню,— развел руками Василий Иванович.— Ни одного номера не пропускаю: «Известия», «Вечерняя Москва», а про такого не читал.

— Я спрашиваю: не знаете ли вы его лично?

Василий Иванович благодушно улыбнулся.

— Извините, я подумал, тоже какой убитый. Нет, не знаю я такого человека.

— Скрывааете! Я вам скажу, почему скрываете. Расчет у вас простой: вас пошлют досматривать срок, ну, может, что прибавят, зато на свободу останется богатый человек, он у вас в руках. В тюрьме вы или на свободе — все равно, он у вас в кулаке. Мешок с деньгами на воле — вот ваш расчет.

— Чересчур хитро вы рассуждаете,— усмехнулся Василий Иванович.

— Вы рассчитали еще хитрее, чем я,— возразил Свиридов.— Только должен вас огорчить: просчитались вы, уплыл ваш денежный мешок, замешан в большой афере с мануфактурой.

Василий Иванович пожал плечами:

— Странные вещи вы говорите, гражданин следователь... Мануфактура... Сроду не имел дело с этой мануфактурой.



— Ну что ж,—спокойно, даже равнодушно сказал Свиридов,—дело, как говорится, хозяйское. Я дал вам все возможности, вы не захотели их использовать. Вы неисправимый рецидивист.—Свиридов неожиданно наклонился вперед и, глядя в упор на Василия Ивановича, сказал:—Про мануфактуру вы не знаете, а про ключи от квартиры Зимина тоже не знаете? О том, что Валентин Валентинович Назвоцкий передал эти ключи Шаринцу, тоже не знаете?

Василий Иванович некоторое время мрачно молчал, потом сказал:

— Ладно, скажу, что знаю. Только учтите: в порядке чистосердечного признания. А не признавался я сразу потому, что меня все это никак не касается, других касается, а по нашим законам, то есть правилам, о чужих...

— Ближе к делу, пожалуйста! — оборвал его Свиридов.— Два часа толчем воду в ступе.

Так вот,—по-прежнему спокойно и размеренно продолжал Василий Иванович,—действительно человек один в их доме дал Шаринцу ключи, велел унести портфель с бумагами, пообещал за это два червонца. Шаринец сделал, получил два червонца, а потом приходит ко мне, все это рассказывает и говорит: боюсь я этого человека, убьет он меня, чтобы, значит, не показал на него. Что за человек, спрашиваю? Он говорит: Валентином Валентиновичем зовут, на бегах играет. Ну, я сам, извините, на бега езжу, играю по маленькой и не ради игры езжу, а так, до лошадей я большой охотник, и, извините, в моей каморке неделю просидишь, надо и продышаться. Взял я Шаринца на бега, он мне этого человека показал, Валентина этого Валентиновича. Я посмотрел на

него: вижу — да! Этот могёт! У нас, знаете сами, глаз наметанный... Говорю Шаринцу: зачем ты, дурак, не в свое дело полез, ты, говорю, дурак, не по квартире ведь работашь, хочешь стать человеком — своей профессии держись. А он отвечает: на два червонца позарился. Ну, говорю: сам позарился, сам и развараешься. А теперь, видите, как! Убили! Значит, правильно предчувствовал, понимал свою судьбу.

Савридов положил перед Василем Ивановичем чистый лист бумаги.

— Все это напишите и, пожалуйста, поподробнее, с числами.

Василий Иванович неловко взял перо.

— Отвяк я писать, гражданин следователь. Может, с моих слов запишете...

— Нет, сами пишете! И поразборчивее. И что еще вспомните, тоже напишите.

Савридов запер ящики стола и вместе с Мишей вышел из кабинета.

— Он правду говорит? — спросил Миша в коридоре.

— Много врет. Опытный, черт. Сразу все учуял. Рассказал только то, о чем мы сами догадываемся. Но, во всяком случае, достаточно, чтобы предъявить обвинение Навроцкому.

44

Убийство Зимина, вызов Юры к следователю и, наконец, арест Василия Ивановича — этого Навроцкий не ожидал в худших своих расчетах, а он всегда рассчитывал и на худшее.

Похитив документы, он преследовал ограниченную цель: нейтрализовать Зимина. Он рассчитывал, что Николай Львович скроет пропажу документов: взял их домой, дома был сын, в привидения теперь никто не верит.

Расчет точный — о пропаже Зимин не заявил.

Дальнейшее зависело от самого Николая Львовича. Скажет Зимин Красавцеву о пропаже документов, не скажет — все равно он в руках Красавцева, обезврежен, пять вагонов гарантированы.

Зимин затребовал новые документы — шаг, так напугавший Красавцева. Красавцев — остопок! Зимин собирался вернуть все документы вместе в расчете, что беспечный Красавцев не будет их разбирать, сунет в шкаф — и дело с концом, кому они нужны, эти старые акты? Если даже Красавцев обратит внимание на недостающие документы, то Зимин отмахнется: «Не знаю, возвращаю то, что брал». Красавцев не поднимет шума, промолчит и тем окажет Зимину услугу. Услуги требуют взаимности.

И вот нелепое убийство Зимина! Все спуталось, смешалось, оказалось под ударом. Негодяй, ничтожество, сукин сын! Кто мог такое предполагать? Карманный ворышка, шлеппер, у него даже не было отмычек, пришлось доставать ключи, сделать вторую пару, увести Зиминых в театр.

После театра он с Шаринцом встретился в Кривоарбатском переулке.

Шаринец вернул ключи, отдал документы, сказал, что подобрал портфель на чердак, как велел Василий Иванович.

— Что еще взял?

— Чтоб мне волн не выдать! — поклялся Шаринец.

— Если что взял, лучше сейчас верни.

— Что взять? Ложки-вилки? Вы с бумагами сторуgetесь, а я с ложами в тюрьму?

— Если что взял, я тебя на том свете достану!

— Так ведь сказал! — как будто искренне проговорил Шаринец.

Валентин Валентинович вручил ему два червонца.

— Прибавил бы пятерку, — попросил Шаринец, — там и серебро и рыжыее было, ничего не взял.

Как теперь понимал Валентин Валентинович, здесь крылась его генеральная ошибка — он не придал значения словам Шарина «серебро, рыжыее было». «Рыжыее» на их жаргоне — золото. Значит, Шаринец осмотрел квартиру, видел столовое серебро, одежду, даже золотые вещи, цупал, осязал, но не взял. Не взял, но запомнил; запомнил, как просто прокинул в квартиру, взял портфель, ушел и то, что еще осталось безнадзорным. Как же ему не взять такую квартиру на придел! Не для себя — для домушников, с которыми встречается в «Гротеске». Он всего лишь наводчик. Навел, но просчитался: Зимин оказался дома.

Как же Навроцкого не насторожили слова Шаринца? Припсал стремлению сорвать лишнюю пятерку? Пятерки он не жалел, но не любил потакать.

— Никакой пятерки! Все, как договорились... Но слова о «рыжыее» как-то отметил, и он добавил: — Что касается золота, то самое лучшее золото — молчанье. Надеюсь, ты понял?

Его угроза не действовала, случилось самое непредвиденное. Если убийц найдут, они выдадут наводчика — Шаринца, Шаринец выдаст его.

Это и привело Валентина Валентиновича в «Гротески». Мир игры соприкасается с миром уголовным: на бега ездят не только играющие в тотализатор. Через них Навроцкий вышел на Василия Ивановича.

Официант провел его в заднее помещение пивной, каморку, тускло освещенную голы лампочкой. За столом сидел Василий Иванович — Навроцкий видел его на бегах, показали. У двери, прислонясь к косяку, стоял человек, которого, как сразу отметил Навроцкий, природа наградила способностью никак не запоминаться.

Они выжидательно смотрели на Навроцкого.

Аккуратно подтянув брюки, Валентин Валентинович упустился на табуретку возле стола, закинул ногу на ногу.

— У меня с вами разговор с глазу на глаз.

Василий Иванович посмотрел на того, кто стоял у двери. Тот вышел, прикрыв за собой дверь.

— Не представляюсь, — начал Валентин Валентинович, — наше знакомство вряд ли продлится долго. Но считаю долгом предупредить: если я не вернусь домой в три часа, — он посмотрел на часы, — то меня будут искать здесь.

Василий Иванович молча и тяжело смотрел на него.

— Кроме того, — продолжал Валентин Валентинович, — если я не вернусь домой в три часа дня, то здесь будут искать не только меня, но и людей, убивших инженера Зимина.

Василий Иванович все так же молча и тяжело смотрел на Навроцкого.

— Кто совершил это ужасное преступление, я не знаю, — спокойно продолжал Валентин Валентинович, — меня это не касается, я занимаюсь другим... Но я хочу поставить вас в известность вот о чем...

Некий молодой человек, по кличке Шаринец, уже побывал в этой квартире и взял там портфель с документами. Таким образом, молодой человек Шаринец знал, что второе посещение квартиры опасно. Возможно, молодой человек Шаринец никакого отношения к убийству не имеет, тогда я зря сюда пришел. Но не исключено, что имеет. Значит, он скрывает, что побывал в этой квартире и взял портфель с бумагами. Значит, он кого-то обманул. Че-

повек, способный обмануть один раз, может это сделать и во второй. Это ненадежный человек.

Он замолчал, дожидаясь ответа.

Василий Иванович тяжело смотрел на него, потом сказал:

— Никакого Шаринца я не знаю, ни про какого инженера не слышал. Что за муть ты здесь разводишь?

Грубый ответ, тем более в сравнении с его учтивостью. Но другого Валентин Валентинович не ожидал. Вставая, он сказал:

— Ну что ж, в таком случае извините за беспокойство. Счастливого оставаться!

Он направился к двери, но Василий Иванович остановил его:

— Навроцкий!

Валентин Валентинович остановился. Значит, нарушили соглашение, взяли деньги и нарушили. Договарившись, что его имя останется неизвестным. Никому нельзя верить.

Но ничего. На эту карту у него есть другая, покружнее.

Он снова опустился на табурет, на лице его светилась та же обаятельная улыбка.

— Мы, оказывается, знакомы.

— Как вгончики, отгружаются? — спросил Василий Иванович.

— Отгружаются, транспорт у нас постепенно наплавляется. Но как тесен мир! Теперь вспоминаю, мне ваше лицо знакомо, где-то я вас видел — на бегах как будто; там бывает много народу, но вас я запомнил, и знаете, почему?

Навроцкий сделал паузу. Лицо Василия Ивановича было непроницаемо.

— Я вам скажу, почему, — продолжал Валентин Валентинович. — Вы удивительно похожи на одного человека. Да, да, бывает же такое сходство, поразительно! Этот человек получил пять лет. Пять лет со строгой изоляцией! И представьте себе, сумел убежать. Строгая изоляция, а он убежал. Смешач! Я преклонился перед ним. Да сих пор не могу найти.

— Найдут, — коротко проговорил Василий Иванович.

— Почему? — возразил Навроцкий. — Могут и не найти. Как говорит поговорка: не имей сто рублей, а имей сто друзей.

— У нас говорят по-другому: имей сто рублей, будешь иметь сто друзей, — со значением произнес Василий Иванович.

— Можно и так, — согласился Валентин Валентинович. — Главное, всегда, в любых обстоятельствах, быть правдивым со своими друзьями. А молодой человек Шаринец кого-то обманул. Честь имею кляняться. — В дверях он обернулся: — Да, чуть не забыл. Документы убитого инженера Шаринец продал одному человеку за два червонца. Просил прибавить пятерку, но ему отказали. Это деталь, подробность. Честь имею!

45

Правила были короткой.

Шаринец явился в заднее помещение пивной.

За столом играли в карты Василий Иванович, Серенький, Жоржик и еще один — Кукольник.

Они играли, не обращая внимания на вошедшего Шаринца. Шаринец не уходил. Василий Иванович его вызвал, и он дожидаясь, не смея ни сесть, ни на-

помнить о себе. Василий Иванович видит его — значит, надо ждать.

Он терпеливо ждал у двери, переминяясь с ноги на ногу, ждал, когда закончится банк. Банк держал Жоржик. Банк долго не стучал...

Наконец, Серенький сорвал банк у Жоржика.

Шаринец думал, что теперь с ним заговорят, но нет: банк перешел к Василию Ивановичу; он тасовал колоду, сдал карты.

— Звали, Василий Иванович? — робко спросил Шаринец.

Василий Иванович не посмотрел на него, коротко бросил:

— Жди!

Василий Иванович держал банк минут, наверно, пятнадцать. Выиграл. Отдал карты Жоржику, собрал со стола выигрыш, отсчитал, что оставляет на столе, и уже после этого, по-прежнему не глядя на Шаринца, спросил:

— Ну, кто тебя навел на квартиру инженера?

Жоржик тасовал колоду, но не сдала, ждал ответа Шаринца. Серенький и Кукольник тоже ждали его ответа.

Шаринец понял: над ним вершится суд, правил, а и расправа будет беспощадной.

И он в ужасе пролепетал:

— Девчонка навела.

— Какая девчонка?

— Белка... Белкой зовут...

— Как навела?

— Сказала, все на дачу уезжают, один Фургон, мальчонка ихний, дома остается.

— А почему инженер не уехал?

— Так ведь он уехал, уехал он!..

— Не кричи! — оборвал его Василий Иванович. — Тихо говори!

— Уехал он, — торопливо зашептал Шаринец, — я сам видел, как в поезд сажались жена и Людка, я на вокзал за ними ездил, Ярославский вокзал, сам видел, как в поезд сажались. И дождался, когда поезд ушел. Потом я приехал на Арбат, говорю Серенькому — уехали, мы с ним и пошли, правда, Серий? Ведь правда! Ведь ездил я на вокзал! А? Скажи! Серенький молчал.

Жоржик тасовал колоду.

— А как же он дома очутился, если уехал? — спросил Василий Иванович.

— Не знаю, не знаю, крест истинный, не знаю, только уехал он, уехал, — бормотал Шаринец. — Вот не сойти мне с этого места!

Он говорил правду: ездил за Зимиными, видел, как сажались они в вагон, дождался отправления поезда.

— Врешь ты все, — спокойно сказал Василий Иванович. — Уехал бы инженер, так не было бы его дома.

— Правда, правда! — твердил Шаринец, — Уехал он, уехал!

Он умоляюще смотрел на всех, но видел мрачные, неподвижные, суровые лица.

— Уехал он, — снова заговорил Шаринец, — только, говорят, вернулся.

— Кто говорил?

— В доме рассказывали, жильцы. В поезде вспомнил, что забыл документ, и вернулся. И Фургон, парнишка ихний, и Людка, дочка, и жена, — все говорят: вспомнил про документ и вернулся.

— Может, и правда вернулся, — задумчиво проговорил Василий Иванович.

— Ну, конечно, вернулся, — забормотал Шаринец, — и Фургон рассказывал: следователь даже спрашивал, зачем вернулся отец? Разве ж мог я знать, что вернется?

— Правильно, вернулся он, с Лосиноостровской вернулся,— задумчиво проговорил Василий Иванович.

— Ну вот,— обрадованно зашептал Шаринец,— разве я бы стал... Разве бы я пошел, если бы знал, что он дома? Уехал он, сам видел...

— А портфель кто взял?

И снова ужас охватил Шаринца: главное только начинается.

— Витька... Витька взял...

— А кто Витьку навел?

— Не знаю... Не знаю... Белка, наверно...

— А документы из портфеля кому Витька продал? — Не знаю... Не знаю... — бормотал Шаринец, стягивая голову в плечи.

— За два червонца кому Витька бумаги продал? Платерку прибавить у кого Витька просил?

Шаринец упал на пол, пополз, обхватил ноги Василия Ивановича, забился в истерике.

— Простите, простите, не убивайте...

Василий Иванович оттолкнул его сапогом:

— Выкладывай!

— Человек один попросил,— всхлипывая, начал Шаринец.

— Сопли подбери!

Шаринец шмыгнул носом.

— Человек ключи дал...

— Что за человек?

— В нашем доме живет... Валентин Валентинович зовут... Навроцкий фамилия...

— Куда портфель дел?

— Витьке на чердак подбросил... Он велел, Валентинович...

— Нам почему не рассказал?

— Думал... Дело верное, думал...

— Нас зачем подвел?

Шаринец опять пополз по полу, обхватил ноги Василия Ивановича.

— Простите... простите... не думал... не знал... не убивайте!

— Встань!

Шаринец еще сильнее обхватил его ноги, боялся оторваться от них, точно в том, что держится за ноги Василия Ивановича, видел свое спасение.

По знаку Василия Ивановича Кукольник и Жоржик оттащили Шаринца, подняли, но не выпускали из рук.— Шаринец валился на пол, то ли нарочно, то ли не мог стоять на ногах от страха.

— Так вот, слушай,— сказал Василий Иванович.— Завтра пойдешь в Рахмановский переулоч, на биржу труда, встанешь на учет. Будешь работать, куда пошлют, от работы не смеет отказываться. И гривенники нигде не посмей взять, понял? Никакого дела чтобы не было за тобой. Не ходи ни на рынок, ни сюда, в «Гротеск», не появляйся. Придет время, сам позову. Если заберут тебя по этому делу, все вали на Витьку, понял?

Шаринец слушал его с раскрытым ртом, не веря, что ему оставляют жизнь.

— Дошло до тебя или нет?

— Дошло, дошло, все понял...— выдавил из себя Шаринец.

Василий Иванович повернулся к Серенькому, выхватил из его рук карты.

— А ты, гуси! Расселся!

Серенький поднялся и так же, как Шаринец, молча стоял перед Василием Ивановичем.

— Этот сопля! А ты! Зачем с ним пошел? Кто позвонил?

Серенький молчал.

— Также здесь больше не появляйся, забудь! Позову, когда надо.— Василий Иванович вынул из кармана пиджака пакет, протянул Серенькому.— По-

еде на «Десятинадцатую версту», знаешь, к кому. Передай старухе, пусть спрячет... В дачу войдет Серенький, а ты, Шаринец, на страже. Поняли?

— Понял, понял,— лепетал Шаринец, все еще не веря тому, что его помиловали.

Серенький молчал. Василий Иванович уставился на него тяжелым взглядом:

— А ты чего молчишь, или чего недопонял?

— Все понял...

— Поняли, так идите, и сюда чтобы не смел! Позовем, когда надо!— Василий Иванович кивнул на дверь.— Идите!

Они сошли на платформу «19-я верста» и пошли к лесу— медленно, так, чтобы дачники с сумками ушли вперед. Лес был хорошо знаком Серенькому, он уверенно шел по его тропинкам. Впереди засветилась полянка. Не доходя до нее, Серенький присел на поваленное дерево.

— Посидим, пусть по дачам разойдутся.

Шаринец присел рядом, с наслаждением вдохнул свежий смолистый запах леса. Опасность миновала, его оставили жить, и Серенького оставили жить, ведь и его могли убить. А то, что велели не приходиться, так это ненадолго; понаежжат, понаежат и обратно позовут. Вот ведь доверил к старухе поехать, он слышал, что есть такая старуха у Василия Ивановича, но не был ни разу, не видел, а сейчас вот послали. Может, теперь его в фартичеры возьмут, куда от него денутся, при нем, на его глазах Серенький застрелил инженера. А куда было Серенькому? Инженер прямо на них шел, не убей его Серенький, он бы весь дом скликал! Инженер здоровый, высокий, ухватился бы— не отцепился... Пришлось Серенькому его застрелить... Интересно, откуда Василию Ивановичу известно, что он получил два червонца и еще платерку просил? Он, Шаринец, никому не рассказывал: выходит, Валентинич рассказал, чуть его под смерть не подвел, спекулянт проклятый!.. Ладно, придет время, рассчитается с ним!

Серенький прислушался к лесу. Все тихо.

— Пошли!— И показал тропинку.

Шаринец пошел по тропинке, Серенький за ним. Серенький вынул из бокового кармана револьвер и медленно начал поднимать его.

— Шаринец!

Шаринец обернулся. Серенький выстрелил.

Серенький сунул револьвер обратно в карман, пошел к расprostертому на земле Шаринцу, наклонился, убедился, что тот мертв, и быстро пошел к станции. Он пришел на станцию за одну минуту до поезда на Москву.

46

Этих подробностей Валентин Валентинович, естественно, не знал. Он понимал, что Шаринца убьют, шел на это, явившись в «Гротеск», и не жалел: убийц не жалует. Он вообще не против смертной казни, но применять ее следует только в одном случае— к убийцам. Шаринец убил ни в чем не повинного Зимина и получил заслуженное.

Однако он никак не ожидал, что Василия Ивановича тут же арестуют. Как МУР вышел на него? Грязно сработал! Не тот человек! Случайное совпадение, разскажи как белого— тоже не верится.

Выдаст ли его Василий Иванович? Какой смысл? Все сделано чужими руками, ничего на себя Василий Иванович не возьмет, будет все отрицать.

Опасен Юра, может проболтаться о ключах. Это уже серьезно: взять ключи от квартиры, где совер-

шена сначала кража, потом убийство. Возможно, Юра уже проболтался. Клянется, что нет — грош цена его клятвам. Законченный маленький негодяй, отца родного продал. Аморальная молодежь!..

Он кругом обманут. Обманули Шаринец, Юра, люди, выведшие его на Василия Ивановича, сам Василий Иванович, так глупо свесив в тюрьму.

Круг смыкается, надо спешить, пора кончать с фабрикой, исчезнуть, улетучиться. Сегодня грузится второй вагон, нужна минимум неделя, чтобы отгрузить еще три. Есть ли у него эта неделя? Должна быть. Неделю Василий Иванович уж, во всяком случае, продержится. А пока Юра один, все это оговор, клевета, ревность к Люде Зиминной, ничего более...

Неделя у него есть, и надо торопить Красавцева. Приняв такое решение, Валентин Валентинович отправился на фабрику.

Кончилась погрузка его вагона. Все шло нормально. Красавцев и Панфилов были спокойны. Ничто не предвещало осложнений. Но, разговаривая с Красавцевым, Валентин Валентинович посмотрел в окно и увидел идущего к фабрике человека.

— Свиридова, следователь, — сказал Красавцев.

У Свиридова много оснований появиться на фабрике, он ведет следствие по делу об убийстве инженера Зимина. И все же Навроцкий принял единственно правильное решение: пока Свиридовым переговоры с директором, потом с Красавцевым, пройдет минут сорок. Один вагон еще можно спасти.

На складе он сунул Панфилову пятерку, расписался в получении товара, взял накладные и вышел из товарный двор. Пыхтел паровозик, составитель опломбировал вагоны. Навроцкий и составителю и машинисту сунул по рублю... Паровозик дал гудок... Состав тронулся и вытянулся из фабричного двора.

Валентин Валентинович вышел вслед за ним из фабричных ворот.

Мишуа окранные склады, пакагузы, фабрики и заводы, маленький состав медленно уходил вперед, к товарной станции. Навроцкий смотрел ему вслед. Эти склады, пакагузы, фабрики и заводы — все будет принадлежать ему, его время придет, важно еще немного продержаться...

Валентин Валентинович оглянулся на фабрику. Хорошая операция предстояла Жалко, но так сложились обстоятельства, он в этом не виноват.

Он свернул в боковой проезд и пошел к вокзалу.

47

В это время на Ярославском вокзале Миша провожал Эллен.

Гудели паровозы, из-под колес с шипением вырывались клубы пара, смазчик стучал молотком по буксам вагонов — вечные сигналы дальней дороги, тоскливого расставания.

Игорь и Сергей уходили к багажному вагону, проверяли, как грузится их цирковое оборудование.

— Когда вернетесь? — спросил Миша.

— Не знаю. Лето пробудем в Мурманске, а зиму еще ничего не известно.

— Значит, еще год не увидимся?

— Приеду, а ты уже студент.

— И, может быть, предпоследнего курса, — засмеялся Миша.

— Не исключено. — Эллен тоже засмеялась.

Она была очень красива, все смотрели на нее. Но она не смотрела ни на кого.

— Будет время, черкни пару слов мне. Генке, Славе...

— Я такая неохотница писать, не идайтесь... Ну как, поймали вы своих жуликов?

— В общем, да.

— Неужели этот любитель букетов — бандит?

— В прямом смысле, может быть, не бандит. А вообще-то бандит.

— Что-то сложно для меня...

— Люди гибнут за металл...

Не глядя на Мишу, Эллен будничным голосом сказала:

— Знаешь, Миша, я выхожу замуж.

Всегда все важные новости она сообщала таким будничным голосом.

Сохраняя полное самообладание, Миша ответил:

— Да? Поздравляю! За кого, если не секрет?

— За Сережу, за своего партнера.

— Цирковая традиция? — попытался шутить Миша.

Она тоже попыталась шутить:

— Ну конечно... — Она показала на небо, подражая купол цирка. — ...Ведь он там, наверно, держит меня в зубах. Жену будет держать крепко не уронит.

— Тогда я за тебя спокоен.

Так они шутили, как и положено воспитанным людям. Миша достойно встретил крушение своей первой любви. Во взгляде Эллен он уловил даже некоторую разочарованность, она ожидала потрясения. Потрясения не будет.

Раздался третий звонок.

Игорь и Сергей попрощались с Мишей и вошли в вагон. Эллен задержалась на площадке и, улыбаясь, помахала Мише. Потом, не дожидаясь отправления поезда, ушла, может быть, для того, чтобы не мешать другим входить в вагон.

Но Миша дождался отправления поезда, он медленно вытягивался из-под крыши вокзала и наконец скрылся, ахнувшим длинным закрученным хвостом.

Миша вспомнил тот, другой поезд из станции Бахмач, увозивший шшелон туда, где сверкающая путаница рельсов сливалась в одну узкую стальную полосу, прорезывающую горбатый, туманный горизонт. Перед глазами его снова возникли красноармейцы. Матрос Полевой в серой солдатской шинели и мускулистый рабочий, разбивающий тяжелым молотом цепи, опутывающие земной шар...

Сейчас, как и тогда, к горлу подкатывал тесный комок...

Но иезовильготные слезы не показались. Детство кончилось... Эллен — это тоже его детство, маленькая циркачка, так поразившая когда-то его юное воображение.

Он вышел из вокзала на Калиачевскую площадь и по Мясницкой, через центр, поехал к себе, на Арбат.

Идти домой не хотелось, и он прошел на задний двор.

Ребята играли в волейбол.

Возле корпуса на асфальте сидел Витяка Буров, стриженный под машинку, бледный и худой.

— Привет! — сказал Миша.

— Привет! — ответил Витяка.

Кончилась партия, команды стали меняться местами.

— Примите изас, — сказал Миша.

— Становитесь! — разрешил Генка.

Миша и Витяка Буров перешли на площадку, и игра возобновилась.

Танзиля Зумакулова



Перевела
с балкарского
Ю. НЕЙМАН

Мое перо

Что только не творит оно со мной!
Минуты нет спокойной ни одной!

То сбросит в море, глубоко на дно,
То свергнет в горе, где темным-темно,
И надо мной куражится, пока
В тетради не уляжется строка.

О проонки волшебника-лера!..
Кем я за это время ни была:
Свопом, познавшим холод толора,
Железом, накалившимся добела,
Разрубленною надвое скапой,
Вязанкой дров, что сдепалась зопой,
Вдовою — самой горькою из вдов —
И матерью, пишавшейся сынов,
Слезами быстро тающего пьда,
Глухой могилою в краю чужом,
Полусожженной сакпей, очагом,
Который погасили навсегда...

Все их страдания были мне сродни,
Я испытала то же, что они,
Скорбела сотнями чужих скорбей...
И думалось: перо в руке моей
Устанет, попомается в борьбе,
Не написав ни слова о тебе.

Казалось мне: слабует мой накал,
Но помогала мне моя любовь,
Ты сам в душе мне силы придавал..
Я гибла вновь и воскресала вновь,
Ребенком став, который видит сон,
Джигитом — тем, кто первый раз влюблен,
В шаира превращалась, и шаир
В ответе был за весь подлунный мир...

Не иссякает это волшебство...
Но, если ты из сердца моего
Навек уйдешь, — все оборвется вдруг,
И выпадет перо мое из рук.



Та в рубашке родилась, а той —
До ее рождения, заране,
Наготовили богатой ткани...
Я в рубахе выросла простой.

В нашей сакпе не было избытка.
Возле очага, глотая дым,
Шипа я рубаху грубой ниткой,
Смоchenною потом трудовым

Да спезой, пролитой втихомолку.
Попудетская моя рука
Часто натыкалась на иголку,
Все же рубашка у меня крепка.

Верю, что кому-то будет мило
То, что я сама рубаху сшила
По себе, по мерке ло своей.
Но чтобы годипась для людей.

Жизни, хоть она порой коварна,
Все же глубоко я благодарна,
Что была она строга ко мне,
Закляла на своем огне,

Побеждать учина слабость, робость,
Укреплять над шальным сердцем власть
И, хотя подчас топкала в пролсть,
Не давала все-таки пролсть.

И теперь, когда бывает тяжко,
Знаю: испытанье неспроста!
Может, потому моя рубашка
Хоть и небогата, а чиста.

Мать

Тот бережет свой дом, а эта ллать,
Та — украшенья тонкого литья,
И я... Боюсь богатство потерять я,
Мое богатство — это мать моя.

Бесценнее сокровищ нет на свете,
Чем щедрость и любовь не напоказ...
Мы баловни, мы все немного дети,
Покамест живы матери у нас.

О мама, мама!.. Огорчаясь, плача,
Спешу к тебе излить свою печаль.
Но что таить!.. Всегда пи в дни удачи
Я вспоминаю о тебе!.. Всегда пи!..

Согрей меня всей чуткостью большою!
Не гневайся!.. Прости меня скорей!..
Как жаль мне тех, кто, очерствев душою,
Своих лозабывает матерей!

Они при жизни дважды мать хоронят,
Не убоясь ужасных лохорон...
Но час пробьет!.. Жестокый сын застанет,
Своими сыновьями оскорблен.

Он будет к матери зывать, но... поздно!
Угаснет крик в могильной тишине...
О мама, мама!.. Хоть живем мы разном,
Ты — на земле... И жить сложной мне.

Пока ты есть, светло мое жилище!
Пока ты есть, пегка любая боль!
Богата я... Меня не депай ницей!
До времени меня не обездоль!

Николай Новиков



Уж если есть друзья, должны же быть
враги,

Кан в доме лыл, как на лугу ухабы...
Попробуй-ка себя уберечь
От недоброжелателей хотя бы!

Сражающимися армиям лод стать,
Войнствуют миноры в наждаке теле.
Нельзя ж на свете просуществовать,
Кан призрак, не отбрасывая тени!



Тщеславию всего страшней — забвенье,
И чтобы чаша минула сия,
Из всех щелей и трещин бытия
Слепшит лотомнов радостно заверить:
«И я при сем присутствовал!» «И я...»

Да, фотодокументы разбирая,
Потомок, ты при гении найдешь
Такой набор умильно лостных рож,
Получинов случайных, как в трамвае,
Что и не грех смутиться: гений — кто ж!

Но ты взглядишь, кто лрянял лозы:
«Площадь

и Я», «Я и вдали Казбен»,
«Я и Прибой», «Я и Двадцатый Вен»...
Глядишь, и Петру Великому на лошадь
Еще взберется этот человек!

И будет он болтаться за спиной,
Трястись в гаполе небывалых дел...
За медный хвост держась, от страху бел...
О, не брани его — оставь в локое!
Несчастный сам не знал, чего хотел...



Куда идет вода!..
Вода идет к воде.
Куда идет беда!
Беда идет к беде.
Река идет к рене.
Строка идет к строке.
А я нуда иду!
А я иду к тебе.
Нелисанный закон,

Немеряный магнит.
Планетою вленою,
Сгорит метеорит,
К звезде идет звезда:
Останутся ли чем!
Неведомо — нуда.
Неведомо — зачем.
Кривую описав
И силы не избыв...
Сиянье в небесах —
Спьянье или взрыв!
Понорствую судьбе,
Вода идет к воде,
Судьба идет к судьбе.
А я иду к тебе...



Тут стель, и ржавая трава,
И резный холод, и ненастье,
Явившееся от нанайцев...
Ну, словом, ты была права.
И лрезжать сюда не надо
В дни межсезонья, в дни зимы,
Когда печально видим мы
Дрожащие останки сада.
И все же тут не первый год
Всегда — в метелицы и заметь —
Заброшенная наша ламать,
Кан птица зимняя, живет.

Музыкальный ящик

Приснись мне, точильщик
Орудий труда,
И рядом — мальчишен
Дворовых орда!
Во всю свою силу
Точило иружи,
Чтоб резали лилы
И брили ножки!
Как легкая лодна
На гребне волны,
Приснись мне, лролетна
Бульжной весны!
Подковы-обновы
И толот колот
[Когда не нино бы,
Так был бы забыт.]
Приснись мне, извозчин
С чугунной спиной,
Приснись мне, старьевщик
И крик лод стеной,
И в нем отголоски
Земли, что ушла:
Лохмотья, обноси,
А нуча — мала!
Ах, ветхий обманщин,
Пластинной гоним,
Шамань же, шарманщин,
Над детством мом!
А нота — раздолье
Средь граней двора.
Куда радиоле:
Дрова и дрова!
А валсь этот длитсья
И месяц и год...
Ожрилая птица,
Печальная птица,
Бессмертная птица
В шарманне лосет!



Эдуардас
МЕЖЕЛАЙТИС

ПИСЬМА ИЗ ДРУСКИНИНКАЙ

Прощую весну встретил я
в Друскининкай.
Это город-курорт на юге Литвы.
Здесь из-под земли текут
целебные солевые воды.
Потому-то город
и называется Друскининкай
(«друска» по-литовски значит — соль).
Здесь долгое время жил
и работал великий литовский художник
и композитор
Микалоюс Константинас Чюрленис.
Семья моя оставалась в Виднюсе.
И вот когда стало خیلی
особенно тоскливо,
я писал письма своей дочурке Дайне.
Дайна собирала и хранила мои письма.
Потом я выздоровел и вернулся домой.
Как-то дочка сказала,
что хочет показать
эти письма своим подружкам.
Можно ли? Конечно!
Потом я сам перечитал их и подумал:
а не познакомить ли с ними более
широкий круг читателей —
ровесников моей Дайны?
И вот эти письма перед вами.
Буду очень рад,
если они покажутся вам интересными.
Адресованы они Дайне,
потому и посвящаются ей.

Автор

Я всегда страстно желал, чтобы человек был таким, каким я его себе мыслю, то есть человеком, который все чувствует, понимает и стремится к истине, добру и красоте.

М. К. ЧЮРЛЕНИС.

ПИСЬМО ПЕРВОЕ

Дорогая Дайна!

Город, в котором я теперь живу, называется Друскининкай. Помнишь ли мой отъезд? Ты спросила, куда я еду. «В Друскининкай». Ты на минуту задумалась и потом мечтательно протянула: «Это значит — в Соляной город, в Солеград?..» Я тогда улыбнулся и ничего не ответил. А теперь хочу рассказать тебе сказку и об этом городе и о многом другом...

Итак, сказка начинается.

...Вчера вечером, читая у открытого окна книгу, услышала я вдруг таинственный шорох. Казалось, кто-то подкрадывается к моему окну, раздвигая кусты и низко нависшие ветви деревьев. Шуршит сухой прошлогодней листвой, шагая по ковру едва проклюнувшейся молодой травки. Вот он уже совсем рядом, стоит и лепечет какие-то непонятные слова. Шепчет и шепчет — тихо, нежно и печально. А зайти в комнату не решается. Мне даже чуть-чуть не по себе стало.

— Кто там? — спрашиваю таинственного ночного посетителя. — Это ты, ветер?

И вдруг слышу:

— Нет, я не ветер. Я Неман, вечный странник. Могучая река твоей родины. Хочешь погулять по лугам и полям? Тогда пойдем в синие дали, как бродили мы с тобой в давние времена... Я провожу тебя в Сказку... Мы постучимся в двери звездного замка, и ты увидишь там, в Сказке, великую и дивную красоту. Такую, какой никогда еще не видел. Идем со мной в синие дали!..

— Хорошо, нду,— кивнул я позднему гостю, набросил пальто и покинул комнату.

На широком просторе, затаявшись в тени кустов и деревьев, ждал меня мой добрый старый друг, одетый в расшитый звездами серебристый плащ.

— Привет тебе, старина Неман! — крикнул я ему издалека.

— Здравствуй! Готов ли ты?

— Готов. Можем отправляться.

— Тогда следуй за мной,— сказал Неман и, круто повернувшись, устремился вперед.

Деревья расступились перед ним, и звездное его одеяние засияло вдруг ослепительно ярко. На миг я даже зажмурил глаза. А когда открыл их вновь, то увидел лежащий в объятиях Немана белый-белый, словно гордый лебедь, город. С высокого неба на башни и башенки, на островерные пирамиды, увенчанные крыши белых кубиков, из светло-голубого купина весенней луны лилось белое-белое молоко.

«Разве это настоящий город? — подумал я.— Да он же игрушечный!» Я сам построил его в детстве из деревянных обрезков — чурок, кубиков, палочек. И жила в том городе-замке моя Синяя птица. Это была обыкновенная синичка. Она навевала ко мне за хлебными крошками. Открыв окно, высыпала я на подоконник эти крошки, зернышки, и голодная доверчивая птица брала корм прямо из моих рук. Так научился я делиться с ней сначала хлебом, а потом — мыслями, впечатлениями, переживаниями. Я читал синичке книги, показывал рисунки, рассказывал ей о

другом своем доме, который называется школой. Это был очень уютный и приятный дом. Множество маленьких, таких же, как и я, братцев и сестриц окружало меня там. Учительница была добра ко мне, как мать, она водила меня по полям, лесам, лугам, городкам и деревням, умушамся на одной небольшой книжничке страничке.

Мне казалось, что синицу очень занимают мои рассказы. Настывшиеся хлебными крошками, она тоже повествовала мне о своем голубом мире, где я не мог пока побывать. О, как таинствен, интересен, как недоступен был голубой мир моего маленького пернатого друга. И как хотелось хоть раз очутиться там! Птаха обещала когда-нибудь захватить меня с собой.

Шло время, и дружба наша крепла. Синичка смелела все больше: она впархивала в комнату и усаживалась на стол. Однажды она явилась ко мне в тот момент, когда я играл чурками, подаренными отцом. Обыкновенные обрезки: чурбачки, брусок, пирамидки, кубики из простого некрашеного дерева. Поэтому они казались белыми. Я строил из них башни, мосты, стены.

Синичка весело осведомилась, чем это я занимаюсь.

— Замок строю, — ответила я.

— А кто станет жить в нем?

— Не знаю, — пожал я плечами.

Тогда гостя торопливым своим говорком спросила, чтобы я построил замок для нее. Большой-пребольшой, такой же, как у владычицы Голубой страны — Синей птицы.

— Я хочу жить, как она! — протестовала птаха.

— Ладно, — согласилась я, — построю тебе замок, как у Синей птицы. Но только откуда же мне знать, какой у нее замок, как он выглядит.

Да и строителем была я в то время неопытным... И потому возведение замка затянулось надолго. Я прикидывала так и этак, одной рукой выкапывала кубики, воздвигала высокие замковые башни. С другой разрушала свои постройки. А завтра все начиналось сызнова. Но в один прекрасный день, когда синичка опять влетела к нам в окно, замок для нее все-таки был готов. Моя крылатая прятельница очень обрадовалась, уселась я башенку и наполнила комнату звонкими, похожими на снежинки, серебристыми звездочками своей песни.

А за окном и впрямь уже падали звездочки первого снега: подходила холодная и голодная зима. И я решила поселить синичку в белом игрушечном замке. Она охотно согласилась. Я взял ее с собой заодно, отогрел ее замерзшее тельце и впустил о белую башню. И она стала моей Синей птицей. Она села о том, как мы пойдем когда-нибудь в страну Сказку, где стоит украшенный сверкающими башнями дворец. Так радость становилось от одной мечты о сказочной стране...

Ниче, глядя на белый, как лебедь, город, лежащий в объятиях могучего Немаи, я вновь вспомнил свои кубики. Башни и дома этого города были так похожи на кубы, пирамиды и конусы моих детских игрушек! И как сияла вся эта белая архитектурная геометрия моего детства, озаренная и выбеленная удивительным трепетным лунным светом! Деревья стояли белые и застывшие. Но теперь все это казалось мне сделанным не из светлых обрезков досок, а из какого-то другого материала. «Из чего же? Из чего?» — думал я, разгадывая белый архитектурный ансамбль — этого белого лебеда, плывущего по морю белого лунного молока.

— Ты спрашиваешь, из чего сделаны кубы, конусы и пирамиды этого белого города? — услышала я рядом голос Немаи. — Подумай. Вспомни и подумай...

— Может быть, из соли, — несмело предположил я.

— Правильно! — подтвердила моя догадка старик Немаи. — Здесь все из соли! Недаром же люди называют этот город Друскинник. Если хочешь попасть в Сказочный замок, тебе надо пройти сквозь ворота этого белого города. Я укажу тебе путь. Готов ли ты следовать за мной?

— Готов, — тихо ответил я.

Немаи снова круто повернула свои воды, свернула звездным плащом, и мы отправились в синие дали.

ПИСЬМО ВТОРОЕ

Тебе, наверное, хочется узнать, Дайна, что же случилось здесь, после того, как мы с Немаином устроились в Сказочном замку? Так слушай.

Быстро и легко поспежал вперед мой могучий провожатый, широко распахнув полы своего расшитого серебряными блесками одеяния. Он делал крутые повороты и извивался, как фантастический дракон, сверкающий звездной чешуей. Он словно выполз из дремучих лесов и двинулся вперед, рассекая богатейской грудью земную твердь. Бежали и бежали немаиные воды, то сердито бурлили и вспенивались, то будто бормотали что-то тихое и нежное. Мудрый Змей-великан, вытянувшись во весь свой неоглядный рост, вился по равнине среди вспаханных нив и волголоса нащепывал мне таинственные слова какого-то, быть может, давно уже забытого людским языком древнего племени. Иногда этот змей разевал пасть и шуря проглатывал вставший ему поперек пути, съезжавший от страха островок со взъерошенной щетиной раки. Проглатывал и, сытый, довольный, аппетитно причмокивая широченным своим языком, догадывался и почесывая о зеленые кустиники и крутые песчаные обрывы расползшиеся, раздвинувшиеся боба, беззаботно проказничал, весело пеласкался, хриплым голосом заводил озорную песню.

Разгоряченный и замком, торопился я, стараясь поспеть за ним. Нелегко давалась мне эта гонка. Немаи был куда проворнее: он то и дело обгонял меня, оставляя далеко позади. Задыхаясь, смахивая пот со лба, изво всех сил спешил я, стремясь догнать его. Где там. Разве догонишь? Вот-вот, кажется, поравняемся, вот он совсем рядом, рукой подать... А нет! Только подумаешь, что настиг, догнал, а Немаи вылетит вдруг в сторону, и, пока доберешься до излучины, гляди — он уже на добрую сотню шагов опередил тебя, оторвался и вытес по голубой равнине все дальше и дальше.

Так и не пришло мне в тот вечер настичь стремительного своего провожатого. И ведь, кажется, здорово я вырос по сравнению с тем давним временем, когда еще мальшом играл по вечерам с Немаином в его звездную игру. Но друг мой вырос неизменно, стал огромным, широким, могучим. Настоящий великан! Где мне теперь тягаться с ним? Бежал, бежал я вседа, а догнать не смог, отстал... А Немаи все вился и вился по синим, злым бледным лунным светом, будто запорощенным солью и замершим в ночной тишине равнинам, легко рассекал холмы и пригорки и, пытая, отфыркиваясь, глубоко дыша, с веселым рокотом бросался вниз, распевая чудесные свои вольные песни, зывая и завлекая меня так, все дальше и дальше, в синие дали...

Так и бежал он, пока вдруг не свернул в сторону и не пропал из глаз. Только-только, кажется, поблескивал вперед — и нет его. Добрался до леса и скрылся в нем. Увелившись погоней, я тоже нырнул в темный, глухой бор. И, конечно, потерял своего провожатика. Кинулся туда, повернул сюда — не видать и не

слыхать, будто сквозь землю провалился. Совсем пропал, нету его, хоть плачь.

— Где ты, дружище Неман? — кричу. — Ау! Разносится по лесу мой одинокий робкий призыв, а в ответ — голос наместников Эхо, что живет в самой чащобе, в зеленой избушке старика Лешего, да злое уханье филина, да сухое, будто сухья ломают, карканье вороны. И снова глухо и грозно шумит нехоженный темный бор.

А Немана не слышно: ни молчит, прысая под густыми кронами вековых деревьев, ни убежал далеко вперед и совсем уже забыл обо мне. Очень обидно! Обидно и больно... Бродил-бродил я по чаще, устал и, присев на пенек, решил отдохнуть, дожидаясь утра. «Вот уж», думаю, — взойдет солнце, тогда наверняка отыщу проложенную Неманом дорогу и белый соляной город...»

Вдруг слышу какой-то шум. Потрескивают под чинами-то шагами сухие веточки, шуршит прошлогодняя листва: не иначе, кто-то ходит неподалеку. Может, косуля, может, заяц.

Поднял я голову: стоит среди сосен стройный человек и смотрит прямо на меня зеленоватыми, глубокими глазами. С бледного высокого лба падает на них густая прядь волос, губы прычаты в пышных устах. Смотрит, и кажется, насквозь пропечатают меня его зеленые-зеленые и глубокие, как воды Немана, глаза. Уж не леший ли? Но усы незнакомца дрогнули от спокойной улыбки, и я услышал:

— Не бойся. Ничего страшного тут с тобой не случится.

— Заблудился я, не знаю, куда попал. Завел меня сюда мой старый приятель Неман и исчез. Где я? Как называется эта местность?

— Сказка. Поминишь свою маленькую синичку? Свою Синюю птицу в замке из кубиков? Это ее подумка. Ты хотел увидеть Голубую страну своей Синей птицы. И синичка обещала свести тебя туда. Вот и исполнилась мечта твоего детства. Этой ночью ты попал в Сказку. Идем, и ты увидишь, как прекрасна эта страна Сказка.

Он протянул мне руку, и мы двинулись вперед. Сосны, высившиеся вокруг, звенели, как золотые струны арфы. Они играли сказочную лесную симфонию. А когда мы вынырнули из этих золотых струн, из этой трепетной и хрупкой, как лунный свет, мелодии, в глаза мне ударил, захлестнул и затопил меня золотой поток огня, целое море огня. Прикрыв глаза ладонью, прищурившись, кинул я взгляд вдаль и увидел гигантский поток расплавленного золота. И показалось мне, что плывут по золотой реке бесчисленные костерки и перешептываются между собой миллионы планетных язычков. Не знаю, кто зажег их. Вероятно, сделали это маленькие длиннорылые гномы — обитатели синих лесов, растущих в Сказке. Каждый из них развел маленький костер, чтобы согреть руки, ибо весна еще не одолела последних зимних заморозков. Весна еще трудилась старички лесовички в тенистых оврагах и балках, прикапывая к себе холодную землю тоненькие свечки и зажатая на них синие огоньки. Дети, бегая по лесу и заведя эти синие язычки огня, кричали:

— Фиаки! Фиаки!..

— А теперь взгляни вверх», — предложил мне мой таинственный провожатый.

Я поднял глаза в небо и замер: по голубому небесному океану плыл могучий корабль. Волный ветер играл спутанной шевелюрой и великопной бородой его капитана. Сильные руки гиганта сжимали огромное рулевое колесо. Это сверкающее медное колесо было перекрещено четырьмя яркими лу-

чами, указывавшими направление четырех сторон света.

— Ха-ха-ха! — весело грохотал великан, подставляя ветру влохмаченную голову.

От его смеха, как от грома, сотрясалась земля.

— Кто это? — спросил я своего спутника.

— Это космический капитан. Его зовут Рекс. Запомни это имя.

— Где-то я уже слышал его.

Усы моего спутника снова шевельнулись от пронизывающей, но доброй улыбки.

— Он тот, что прибыл к нам из дальней Галактики. Его космический корабль облетает теперь вокруг нашей планеты. Сделав тридцать три оборота, он опустится в Советград. Хочешь знать, почему именно здесь? В Друскиннинкай жила человек, который еще тогда, когда никто не видел Рекса, создал его звездный портрет. Поэтому-то, прилетая на Землю, космический Рекс всякий раз опускается в нашем краю. Он приносит нам Весну...

ПИСЬМО ТРЕТЬЕ

Почти весь день просидел я сегодня в четырех стенах. С утра по стеклу били дождевые капли и слезлики стекали вниз. В комнате мрачно и тоскливо, и на душе у меня тоже серо и пасмурно: я соскучился по дому, а больше всего по тебе, доченька.

За окном, протянувшись от серых облаков до серой еще земли, висели длинные-предлинные лязгающие нити дождя. За ними цеплялось, раскачивалось и карабкалось по ним вверх и вниз шаловливое потомство сурового змиего Ветра — весенние ветерки. Что за веселую игру завел он — весельишки! Шнырял меж натянутых водяных веревочек, прыгался за могучими стволами сосен, забирался по шершавой коре вверх, залезал в кроны, шевелал сухая и вдруг, спрыгнув вниз, припал к земле. Но в какой-то миг все утихло. Ровные веревочки дождя устремились к земле. И тут я увидел, как красиво и старательно сплетены они из водяного серебра. Тугие, сверкающие.

И вдруг... Что это?

Раскачивается на хрустальных дождевых канатиках яркая птичка. Перышки на крыльях зеленые и серенькие, грудка желтым фартиком повязана. Быстро-быстро перебирая лапками водяную веревочку, спустилась птица вниз, уселась на падокиню и смотрит мне прямо в глаза.

— Здравствуй, синичка! — обрадовался я. — Уж не Синия ли ты птица моего детства? Не из того ли построенного мною когда-то замка прилетела ты сюда? — Так-так-так! — весело потренькала синичка.

— Вот чудесно! А что слышно в стране моих детских лет? Не разруша ли, что твоего прекрасного замка? Цела ли башня из белых деревянных кубиков?

— Увы, увы, увы! — печально пропела птица.

— А-й-ай-ай! Значит, разрушил твой замок? Жаль. Очень жаль. Красивый был замок, и тебе, не правда ли, удобно было жить в нем?

— Так-так-так!

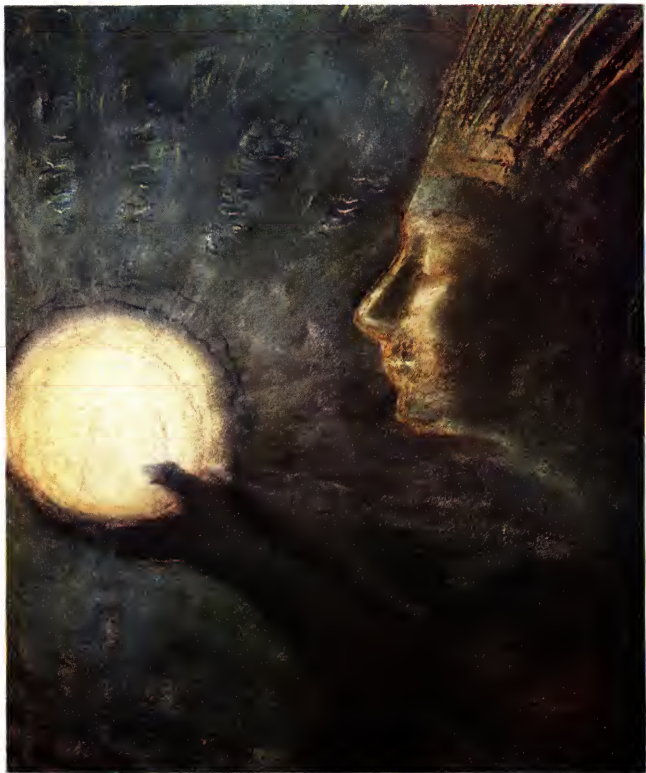
— А случается ли тебе бывать в Голубой стране?

— Как же, как же!

— И Синия птица еще живет там?

— Живет! Живет! — завертела синичка хвостиком.

— Когда-то обещала ты мне указать дорогу в Голубую страну. Немало лет минуло с той поры, а я, как видишь, все еще не знаю дороги туда, все еще не встретил Синей птицы...



Дружба.

Из произведений М. К. ЧЮРЛЕНИСА. 1875—1911.



Соната моря.



Стрелец.



Похороны солнца.

— Не плац! — зацокала пестрая птичка. — Не плац! Все еще впереди! Еще отыщешь дорогу в Голубую страну, встретишь свою Синюю птицу! Уже весна, уже тепло! Славно!

И она взлетела на высокую сосну. Хотел было я спросить ее, когда же мы отпраздним в замке из деревянных кубиков, в детство, в Сказку, в Голубую страну. Но синички уже и след простыли...

— Ну что ж, милая моя пташка... Пой себе, циничкай, темная на доброе здоровье! Снег теперь долго-долго не вернется. По берегам Немана уже слышат к нам красавица Весна. Венки из синих фиалок на ее голове. В раковитую дудочку пописывает, на разные голоса с лесными пташками переключается. Звонко, весело...

...Заболтался я, Дайя, и совсем про сказку забыл. Это Весна помешала. Явилась из леса, забралась ко мне в комнату, и никуда от нее не спрячешься. Песни свои звонкие распевает, как по земле шла, рассказывает. Сиди и слушай ее. А выпнуть не могу — жалко. Такая она нежная, певучая, такая красивая и добрая... Но я уж и сам вижу, что пора нам с тобой снова вернуться в Сказку. Итак...

...Летит по голубому океану могучий гигант, капитан космоса Рекс, и разносится по Вселенной гром его хохота:

— Ха-ха-ха! Го-го-го! Эй, Ветрище-лежебока! А ну, проноси! Буди-поднимай своих детинек-ветришек! Ну, что же ты! Пора тормошить деревья и кусты, пусть очнутся от зимнего сна! Идет Весна! Да и почкам уже пора лопаться! Ишь, набухли как! Э-ге-гей! Ветруицы-сорванцы, травки зеленой на луга накидай-те-ка! Скотина-то, слышите? Жалобно зтак по хлевам да стоилам мычит, блеет. На лужок бы скорее!.. Вставай, дружище Ветрище!

И Ветер-ветрище — старей бородач, который в глубокой ложбине, на мягкой снежной перине нежился, белыми снежными простынями укрытый, проснулся, потянулся, зевнул, протер ледяными пальцами запорешенные снежной пылью глаза, откатываясь и заревел в ответ:

— Го-го-го! Слышу!..

Встаю — выше леса стал. Присел, чтоб размяться — земля начала шататься.

— А юу, ветерки! А юу, сорванцы-озорники, хватит спаты! Подъем!

Тут уж зашевелились сладко посапывавшие в лесных сутробах ветровичи — могучего Ветра сыновья. Златокудрые, озорные, быстрые. И такой по лесу гул пошел, такой смех, такой бегуляний смех. Бурий медведь в берлоге лежал. Лапу сосал. А все как загудело, затрещало — покоя не стало. Зашевелился мшица — снег над береговой осел, осмылся. Осники да ясени, что кругом берега, у края обрыва, стояли, задрожали, затрещали, во все стороны качаться стали.

Все ветровичи проснулись, разворочили свои сутробы-постели. Раскачали ветки на деревьях, рассыпали-посыпали с них снежные шапки. Чем бы еще заняться? Как бы еще созоровать, набеодукнуть? В кучу сбились, пошестались, договорились: подстеречь Рексов космический корабль, поймать за хвост этого дельфина и облететь с ним вокруг Земли. Сказано — сделано!

Только появился вновь над той долиной, где они собиравлись, космический корабль, вытянул отец Ветер дилную свою руку, похожую на крыло ветряной мельницы, ухватился за открытый люк, подтянулся

и — раз! Уселся рядом с Рексом в капитанской рубке. А сыновья его, златокудрые да зеленоглазые, зашестели, завыли, задули, дотлали корабль, впились в металлические дельфины плавники, ухватились за хвост и понеслись-полетели вокруг Земли, песни распевая.

И ничего бы особенного не случилось — прокатились бы, и все. Пусть летят себе на здоровье да песни поют. Так иет! На то они и озорники... Свистит-гремит космический дельфин над самой землей, а ветровичи, как дерево какое заметает, кустик, веточку, дубок ли, березку, ясени или ивушку, хвать за верхушку и ну трепать! Деревца-то ослабли после зимы-холодухи, такой игры не выдерживают: гнутся чуть не до земли, словно убежать, спрятаться от этих сорванцов хотят. Жмутся друг к другу, согнутыми верхушками друг дружки касаются — то вверх на холмики взбегают, то в ложок спускаются. И становятся они похожими не на деревья — странные да высокие, а на нотные знаки — восмушки да четвертушки — ну точно как в твоей нотной тетради, доченька.

Глазю я на деревья, под ветрами стоящие, и слышу вдуру:

— До-ре-ми-фа-оль-а-си-до!

Да ведь это гамма! Вся гамму играют на согнутых верхушках ветерки-озорники. Да так верно, так чисто! Чуть заденет ветерок-непоседа деревцо, согнется оно, превращается в нотный знак, и тут же отзовется — то «фа» прозвенит, то «ми» пропоет.

А когда все деревья обратились в ноты, поднялись в воздухе такой гул, полилась такая удивительная мелодия, что у меня голова кругом пошла. Замелькала перед глазами, закружилась хоромом, и увидел я удивительное чудо: на пригорках, по лугам, на болотных кочках, на пнях старой вырубки примостились маленькие ветряные мельницы — жужжат, поскрипывают их летоничные крылья и вертятся, вертятся, вертятся. Вальное множество ветряных мельниц. И рядом, и поодаль, и далеко-далеко машут и машут своими крыльями, вращаются, как пропеллеры самолета. Дуют разбуженные ветерки, гнутся деревья, играя величественную мелодию оживающей природы, летят по светлому небу лодки-облака, рябит вода в бесчисленных снеговых весенних озерах, журчат ручейки... Все поет, движется, вращается — земля, леса, небо. Даже ласточки, простреливающие воздух, превратились внезапно в нотные нотные знаки. Разве это ласточки? Нет! Это же Весна записывает на голубой бумаге неба свою сонату.

Увлек, подхватила меня вращающийся мир. И, вроде взрослый уже человек, раскинул я руки изподолбе крыльев ветряной мельницы, замаяла ими и закружилась, запел вместе со всей Вселенной, со всей Землей, со всем поющим и лязгающим миром. Ох, и весело же мне было, ох, и хорошо!

Могучий оркестр Весны играл мне мажорную сонату пробуждающейся природы. А я махал Рексу руками, и кружилась, кружилась, кружилась, словно летящая ветряная мельница...

Весь космос — твоя ветряная мельница, Рекс. Все, из чего состоит он, космос — живая, движущаяся материя. Ее движение, вращение, ее бесконечное и постоянное перемещение в пространстве и есть великая сила природы. Рекс будит все живое. Каждую звезду, каждую планету, каждую молекулу, каждый атом превращает он в ветряные мельницы и с помощью Ветра и всех его ветрогонно-детиншек, золотоволосых и курносых ветерков-озорников, раскру-

чивает их крылья. И бесчисленные миллионы этих мельничек на земле и в космосе начинают вращаться, крутиться, действовать, двигаться! Крутятся и мелют зерно. Вращаются и поют песни. Во Вселенной нет неподвижности, не может быть застоя и покоя. Поэтому она вечно молода. Все вращается в космосе, вращается и превращается. Вспыхивают новые звезды и раскручивают свои крылья-лучи, разрушают потухшие созвездия, но их вещество, разлетаясь во Вселенной, сталкивается с обломками других миров и вновь оживает, зажигаясь огненным пожаром. И потому снова звучит в космосе соната весны. Он не может остановиться, он вращается и вечно будет вращаться — огромный, необятный, бескрайний космос, охваченный вечной весной обновления и возрождения.

Так что недаром щебетала мне крылатая подружка-синичка с желтым фарфучком на груди:
— Весна! Славно! Славно!..

Да, уже весна! И какая весна! И какая же прекрасная весенняя соната звучит над землей!..

ПИСЬМО ЧЕТВЕРТОЕ

Ну вот, доченька, и следующую историю. Хочу рассказать о том, что случилось со мной дальше, по дороге в замок, в детство, в голубую Сказку...

Снова надо мною чистое небо. Только-только прогрохотал здесь окруженный сорванцами-ветровниками космический корабль, и уже нет его. А я все кружился, размахивал руками, и уже нет его. А я все кружился, и выдохся, упал ничком на теплую, влажную землю. Но не успел прийти в себя, как вновь раздался, сотрясая небо, могучий ликующий хохот космического капитана. Его корабль молнией облетел планету и опять здесь! Вот вынырнула он из пологого на айсберг белого облака, стремительный обтекаемый, серебристый, словно огромный дельфин. Вцепившись в его плавники, в его стальную хвост, по-прежнему визжат, хохочут и распевают озорные песни шалуны-ветровники.

И, пролетая над землей, по-прежнему клонят и тебредят верхушки деревьев...

До чего же завидно мне было глядеть на их веселую весеннюю игру! И так захотелось присоединиться к этой компании, подняться с явным в поднебесье! «Неужто только вам, сорванцам-ветерикам, — подумал я, — можно разгуливать в воздушном океане! В былые времена я ведь тоже был веселым проказником, носился наперергоны с вами по полям и лугам, умел звонко подпевать вашим песням. Эх, если бы можно было снова стать таким, каким был я тогда! Я превратился бы в белый пушок одуванчика, и ветер подхватил и понес бы меня по полям и лугам, далеко-далеко, в замок из деревянных кубиков, в голубую Сказку, где живет Синяя птица...

И вдруг слышу:

— Что же ты остановился? Почему не бегаешь, не прыгаешь? О чем размышляешь?

Я вздрогнул от неожиданности. Совсем забыл о своем ситнике! Его глубоко запавшие глаза, казавшиеся раньше зелеными, как пенящиеся воды, загорелись вдруг горячим голубым пламенем, спрятавшиеся за пыльными усами губы сложились в лукавую, мудрую улыбку. Конечно же, он читает мои мысли, угадывает мои желания! Кулесник! Колдун! Чародей!..

— А не волшебник ли ты? — прямо спросил я его. — Ты ведь знаешь, о чем я думаю! Да, мне бы

очень хотелось снова стать маленьким, озорным человечком. Хотелось бы улететь вместе с ветерками за дюзы космического корабля. Лететь, кричать, хохотать, петь!

— Ну что же, это можно! — Он ласково глянул мне в глаза. — Только... Такого большого в корабль, конечно, не возьмут. И вес не тот, и рост велик... Ты не сможешь вместе с ветерками взлетать на горы и айсберги облаков, проникнуть в облачные небесные замки. Взрослым трудно: едва-едва взлетят, воспарят... и шлепаются вниз, на землю. Так недалеко и шлепаются! Но если ты снова станешь маленьким, легким, как пух, и быстрым, как ветерок, если превратишься в озорного малыша, то уже не упадешь на землю. Ну как, хочешь вернуться к своему детству?

— О да, хочу, очень хочу!

— Ладно. Зажмурь глаза и... вот тебе горький-горький кореш. В нем собрана вся горечь твоей жизни. Съешь его!

Я принялся грызть корешок. Бр-р! Какая же это была гадость! Хуже самого мерзкого лекарства. Но что поделаешь! Мне ужасно хотелось вернуться в безоблачное детство, в звездную Сказку! Проглотил горечь и набрав в грудь побольше воздуха, я во весь голос, так, чтобы услышали меня все птицы в небе, и все облака, и весь-весь огромный мир, что было мочи начал выкрикивать полובившиеся мне еще в детстве строки Казиса Бинкиса:

Оседлавши ветер звонкий
И к нему прижавшись тесно,
Я с весной наперергоны
По просторам мчусь небесным!

— Ну вот, — словно издаലെка донесся таинственный голос волшебника, — теперь ты стал легким, как пух. Ты снова маленький мальчишка-сорванец, озорной сынишка Ветра. Сейчас я подниму тебя высоко-высоко на своей ладони, подую, и ты полетишь далеко-далеко... Теперь ты доволен нагуляешься по облачным горам и замкам из тумана. Теперь ты все отлично разглядишь — облачные города видят только очень маленькие дельфинки и мальчишки, только гномы лесные и ветрички озорные... Счастливого полета в страну облаков! Летя, пушок-паренек!

И он высоко поднял меня в своих крепких ладонях, раскрутил их и, дуя на меня, как на пух одуванчика, выпустил из рук. Я почувствовал, что поднимаюсь, лечу все выше и выше! Вот я уже над лесом, вот достиг нижней крошки облаков... А внизу, далеко-далеко, вижу зеленую землю, и мамат, мамат мне рукой мой добрый волшебник.

И в этот момент из ближнего облака снова вынырнул серебристый дельфин — космический корабль Рекса. Сильные руки покорила Вселенной подхватили меня. И вот уже, окруженный грохотом и свистом ветра, несусь я по лазурному небосклону. И ни чуточки не страшно.

Я как ни в чем не бывало продолжаю декламировать своего любимого «Озорника»:

Пусть лебяжий, журавлиный,
Пусть бескрайний, длинный-длинный...
По дороге облаком
Я на ветре мчусь легко!

— А ну-ка, посмотри вниз. Видишь, крутятся там маленький шарик, как глобус за столом учителя? — услышал я могучий бас Капитана корабля.

— Визжу, — робко ответил я.

— А знаешь ли ты, что это такое?

— Нет. Откуда же мне знать?

— Это твоя планета Земля. Там ты живешь.

— Такая маленькая? — поразился я. — Такая кроха? Да ведь она меньше меня! Как же я там помещаюсь?.. Она как футбольный мяч!

— И вправду похоже, — улыбнулся Капитан. — А когда мы еще глубже погрузимся в космос, Земля покажется тебе пылинкой. Таких пылинок во Вселенной миллиарды. Самой совершенной электроинформационной машине и то не пересчитать их!

— Так много?

— Конечно. Бессчетное множество. Одни умирают, другие рождаются. Взгляни-ка право: видишь этот черный шар, танцующий на волнах небесного океана и в похожий на оторвавшийся от рыбацкой сети плавок?

— Вижу.

— Он висит над сказочным облачным городом. Из невесомого тумана воздвигнуты в нем арки и башни... Видишь?

— Вижу.

— Так запомни: этот черный шар — уже угасшее солнце. Бывшая звезда. А призрачный город — умерший мир. Присмотришься: он совсем пуст, никакой жизни, ни единого человека. Мертвый мир...

Мне стало страшно.

— Но почему же они — и солнце и этот его мир — погибли?

— Так всегда во Вселенной, малыш: один мир, потеряв энергию, угасает и умирает, а в это время где-то в космосе рождается новое горячее солнце, новый прекрасный, радостный и величественный мир. Взгляни-ка налево!

Я глянул, и мне стало не по себе. Горизонт был исчерна-черен, как будто залит тушью. Хотя нет, не тушью: там, словно в средневековой кухне алхимика, вращались, теснялись, противоборствовали, сталкивались и расходились, захватывая все большее в большее пространство, огромные черные облака.

— Что это?

— Это хаос. Ничто. Космическая пыль. Пока ничто. Неразбериха, толкотня, давка. Мельчайшие частицы мироздания — атомы носятся во всех направлениях, как толпа мальчишек, выбежавших из школы на большой перемене. Но вот по вековечному закону Вселенной это неорганизованное, хаотическое движение бесформенной массы прекращается. Сила всемирного тяготения заставляет ее подчиниться главному закону космоса — упорядоченному движению в пространстве и времени. Хаос превращается в гармонию. Что же там происходит? Только что ты видел черное солнце, его опустелый, безжизненный мир. Сейчас перед тобой рождение нового мира. Его первые шаги. Вот-вот начнет он формироваться, обретет центр, раскрутится вокруг него крыльями ветряной мельницы. И появятся юный, прекрасный, удивительный мир... Смотри!

Капитан космического корабля простер свои жилистые, мускулистые, как у скульптора или каменотеса, руки. С пальцев его сорвались бесчисленные стрелы молний и вдоль и поперек изобразили хаос, рассекли его на части. Все вокруг меня сотрясало от страшного грохота, какая-то невероятная, невиданная энергия комкала, мела, месила черное вещество космоса, как пекарь месит тесто или гончар — глану...

Но вот все, утихло. Возбужденная масса материи замерла, успокоилась, улеглась. Громы смолкли. Во мгле засияли серебристые густки. Черный туман пронзали лучи солнца, и он стал розовым, теплым, живым. Потом туман стал рассеиваться, и перед мной открылась бескрайняя водная гладь.казалось, после бурь, громов и ураганов наступил творческий час тишины и благоденствия. Насколько хватало глаз, простиралось зеркало успокоившегося, умиротворенного, сверкающего на солнце великого океана. Воды его были кристально прозрачны. Я глянул в

глубину его и увидел, что там легко колышутся зеленые спирали — длинные, устремленные к поверхности водоросли, а на дне медленно передвигаются морские звезды. И тогда сердце мое также утихло, успокоилось, страх растаял, словно и не было его вовсе.

Мне вдруг стало спокойно, легко и хорошо. Я утратил в космосе великий творческий акт: беспорядочный хаос обрел гармонию, которая породила жизнь...

Это рождение нового мира напомнило мне картину из далекого детства. Из комка овечьей шерсти, из хаоса спутанной кудели, насаженной на гребень самодельной, нажимая на педаль, мать считывала. Скрипит педаль, крутится колесо, тянется длинная тонкая нить.

И вот мать уже намотала большой клубок, похожий на земной шар...

— Теперь мне ясно, Капитан! — бойко, как настоящий сорванец, выпалил я. И тут же заметил, что развязная манера обращения пришлась не по вкусу моему мудрому собеседнику. Правда, он не сказал ни слова нахальному мальчишке, но густые его брови сурово сошлись у переносицы, лоб пересекли строгие морщины.

— Ну, а что еще хотел бы ты увидеть? — холодно обратился он ко мне.

— Что еще? Даже не знаю... — растерялся я. — Мне бы хотелось, если можно, увидеть все. Всю Вселенную...

— Ого, немало ты желаешь! Пожалуй, даже слишком много. Конечно, увидеть и познать все — всю Вселенную — дело великое. Важное дело... Однако не следует ли начать с малого? С самого себя. «Познать самого себя» — так, кажется, сказал де-с с половиной тысячи лет тому назад некий мудрец на нашей Земле — греческий философ Сократ... Так вот, хочешь познать самого себя?

— Да, да, конечно, хочу!

— Ладно. Тогда летим в облачные горы.

Капитан повернул руль своего космического корабля, и серебристый дельфин нырнул в белый туман облаков.

Авторизованный перевод
Б. ЗАЛЕССКОЙ и Г. ГЕРАСИМОВА

(Окончание следует.)



Лариса Васильева



Запуталась, кого из вас
люблю на самом деле:
неподражаемый Кавказ,
иль душу в бредном теле,
внд на Тбилиси с высоты
орлиного полета,
иль резкие твои черты
и смелость поворота,
предугренье голоса
реки, листвы, оконниц,
иль робкие твои глаза
с припухлостью бессонниц!
Порою, право, не пойму,
живешь ли ты на свете:
то, может, полночью сквозь тьму
ветвей пахучих сети
окутали меня, цветы
пьянили медом юга —
и незаметно спелся ты
из запаха и звука.

Март

В городе любое время года
камнем ограничено. И все ж
не сдается матушка Природа;
предвесение в груди народа
вызвало томление и дрожь.
Запах. Непонятно, что запахло.
Снег еще лежит, пурга метет,
ветер глухих лесен не плетет,
ветви на деревьях виснут чхоло,
но, на воздух выйдя ото сна,
горожанин чувствует — весна!
И кивольно распрямляет плечи,
и бежит по нервам первый ток,
и звучит в его усталой речи
в ожидании неожиданной встречи
этакий сумбурный говорок.
Кажется вчерашняя усталость
чем-то позабывшимся давно.
Где-то кто-то распахнул оюно —
от предчувствий сердце сильно сжалось —
неужели!!! Серая тоска
дымом уливает в облака.



Легкой ласточкой
время летит над долиной.
Абрикос золотые роиает плоды.
Разливается запах дурманяще-виный
и царит над невидимым потоком воды.
Синева.
Облака неподвижно-похматы.
Алазаской долины плывет огневая ладыя.
Лето кончено.
Не понимаю, куда ты,
юность, глупая, делась!
Растеряна я.
Белизна на макушке горы появилась,
и поморщились тени на склоне горы.
Тишина.
Безграничная ясность явилась:
тем прекраснее жизнь, чем в ней
меньше игры.

Если жаждешь души и родной и похожей —
не ищи ее там, где локорство и страх,
где зависимость есть,
где улыбкой пригожей
отражается ложь в голубых зеркалах.
Засыпает земля.
И суровой рогожей
абрис солнца прикрыт.
Сизый дым на полях.

Глеб Горбовеский



Так мимолетна вечность взгляда
нас наблюдающей звезды...
Зачем сидим в пещере сада,
что ожидаем — я и ты!

Здесь сталактиты — яблони ветки,
неколебимы и бледны.
Так мимолетна вечность ветра
и нерушимость тишины.

Я открываю рот, и листья
летят с ветвей на шар земной.
Так мимолетна пташка мысли,
на волны брошенная мной.

И лишь твои — и дух и тело —
нетленны в чреве бытия:
как всемогущие ты глядела
на этот мир, любовь моя!

Игорь Кохановский



И девочка одиннадцать лет
из дружбы с нунлой делает секрет
и шьет тайном ей платьица из ситца...

Она играет редню с ней.
Стыднится.

Еще вдали та зрелая лора,
когда ее любимая игра,
игра всех девочек времен всех —
в дочин-матери —
останется смешной страничкой в памяти.

Еще лыняные волосы хранят
неповторимый детский аромат,
но в ней уже неясное, нан тайнство,
другое что-то робюю зарождается.

Тан деревце в преддверии весны,
еще не ведая шуршания листьев
и утлая, словно в лолусе,
еще в лучистой снежной белизне,
норнями лишь почую влагу лочвы,
в себе готовит сон для первых лочек.

И все же жаль, что стала быстротечней
лора забав, безвинных и беслечных.
И девочка одиннадцать лет
из дружбы с нунлой делает секрет.



Что-то меньше с годами друзей.
То ли строже душа и зрелей
судит нынче лостулли людские,
им давно уж не делаю секрет!

То ли закабалнили дела,
запрягли,
завели уднла,
заказали лутн, и с друзьями
развели,
разбросали,
раззяли!

Ах, наною деловой нынче вен!
Все в осаде проблем доморощенных,
заминут нруг их, нан велотрен,
да н в нас есть немало от гонцинов.

Что-то меньше с годами друзей.
То ли скрытое в людях видней
и оттапливает, нан бездиа,
все, что с дружбой самой несовместно!

Что-то меньше с годами друзей.
Настоящих. Все больше — приятелн,
деловые, нан мероприятня,
отчужденные, словно музей.

Да н сам я ло горло в делах.
Что лентяй на лотерн в друзьях,
спать улреми ло их адресам...
Знать, таная у всех лолоса.

Все в делах, нан в дремучем бору,
где молчанье сосен сурово,
где таи хочешь довериться зову:
— Ау!

Игорь Федорин



Войди в стихи, нузбассный гололед
на улнцах, без снегопада гладннх,
нан ты пошел, нузбассный уголеи,
в жилища, в бунны первые в тетрадилах!
И ты войди с резчайшим ветром, Томь
(тобою город нан инутом рассечен),
и обелнн на набережной той,
что сердце жжет любого ветра резче!
Вам, шиольинни, занутаннм до глаз,
войти н встать в стихах, нан в нарауле,
над лапаятью сыном тлоих, Кузбасс,
что лод Моснвою всясть не повернули.
Тревожных сводон ритм, в стихи ворвнсь:
ло области —
аварии —
на траассах...

И про себя шелчу я:
— Отступнсь
ты, гололед, от шоферов Кузбасса!
Земля остыла, нажнется, да нан!
Но — чу! — в морозном ветре уповнмо:
горячей лечной тнает, — лахнет шланн,
ноторым дышат стены Консохнма,
Как сталь — на сталь,

жар домен — на мороз
лошел, не отступая, не робея, —
идет Кузбасс во весь рабочий рост,
огнем бушуют консобатарен!

Никита
ТОПУРИДЗЕ

НЕСКОЛЬКО СТРОК

Я знаю Никиту Топуридзе.

Он закончил Институт
иностранных языков,
но кем станет впоследствии,
пока не понять.

Может быть, он будет преподавать
французский язык,

возможно, станет дипломированным
переводчиком в министерстве
или даже в Организации Объединенных Наций,
а вдруг и... писателем.

В эту профессию неожиданно-незадранно
приходят люди из самых разных сфер
человеческой деятельности:
инженеры и артисты, рабочие и военные.

В конце концов и Чехов
променял прекрасную профессию врача
на это звание.

Пожалуйста, езжайте, Никита Топуридзе,
в неизвестное. Журнал «Юность»
вручает вам путевой лист.

Его стоит поберечь.

Многие авторы, начавшие жизнь в «Юности»,
хранили его и идут вперед.

Иные потеряли. Ну, что же, значит,
литература могла обойтись без них.

В конце концов не все зависит
от человека, хотя и многое.

Езжайте!

Когда Топуридзе станет великим писателем,
в школьных учебниках о нем напишут неправду:
он-де был примерным сыном,

учился всегда только на «отлично»
и славился чрезвычайным трудолюбием.

Даже, может быть, приведут цитату
из «Жана Кристофа»:

«Он работал, как вол, или, вернее,
как гений».

Этим я совсем не хочу сказать,
что Никита Топуридзе — пустой парень.

В таком случае я бы не согласился
написать о нем ни строчки.

А кроме того, думаю, читатели этого его
первого произведения
сами увидят, что автор не до конца безнадесен.

Виктор РОЗОВ



Рисунок Е. ЛЕХТА.

Свидетельство о записи на факультет.

Генеральный секретарь университета г. Клермон-Феррана удостоверяет, что:

Мосье Топуридье Никита, родившийся 10 июня 1953 г. в г. Москве (СССР), проживающий по адресу: 25, ул. Этьен Доле, на законных основаниях зачислен в вышеуказанный университет для занятий на факультете филологии и гуманитарных наук с января по июль 1974 года.

Клермон-Ферран. 29.1.74*.

Несколько строк, которые бесстрастно вместили погода моей жизни...

Шум, веселые крики. Идет захватывающий футбольный матч. Рыжий, вусмерщатый паренек проходит одного, другого... Нет, мяч у него забират. Точный пас — и все устремляется в обратном направлении. В лице «Блез Паскаль» — большая перемена.

— А вот и наши надзиратели.— Николь показывал на развеселую компанию молодых людей, уютно расположившихся под деревом.

Надзиратели! Как не подходит это неприятное, режущее слух слово к хохочущим парням и девушкам в синих джинсах! У меня оно всегда ассоциировалось с мрачной тюремной камерой или с жестокой палочной дисциплиной в казармах. Хотя, кажется, в казармах не бывает надзирателей. Впрочем, французское «сюрвейан» таких ассоциаций и не вызывает. Я бы перевел его как «наблюдатель», это, пожалуй, будет и приятнее и точнее. Или лучше просто поставлю слово в кавычки. «Надзиратели» наблюдают за детьми, попусту не вмешиваясь в их дела. Кроме того, мне кажется, они и сами неплохо проводят здесь время. Вот этот длинноволосый парень явно ухаживает за своей милой соседкой. Еду, наверно, сейчас не до детей, ревящих на дворе.

Идем в бар лицея. Нечего сказать, повезло этим французским школьникам: мы во второй сешколке имени Ромена Роллана, что затерялась в тиши узеньких московских переулков неподалеку от проспекта Мира, довольно-таки буфетом. Впрочем, лицей «Блез Паскаль» составляет исключение и среди французских школ. У него свои привилегии, свои особые традиции. Шутка ли, один из старейших лицеев Франции! Гордость не только Клермона, но и всей провинции Оверни. Именно здесь учился в XVII веке сам Паскаль. Теперь, когда его имя выросло в века, забавно представить себе великого мыслителя бегущим по двору в коротких штанишках. А ведь бега! И учителя ставили его в угол, а время от времени, наверно, давали подзатыльники. Впрочем, по всей вероятности, он уже тогда был отличником. Кажется, лет в двенадцать он сам, не прибегая к учебникам, вывел все основные положения геометрии Эвклида, а в восемнадцать изобрел несложную счетно-вычислительную машину. Да, странно, что мне не «больно» за потерянное время, как любит говорить моя мама: уже двадцать один год, а до сих пор ничего не открыл. Впрочем, и эти «надзиратели», наверно, тоже ничего еще не открыли. Это просто студенты, которые подрабатывают в свободное от учебы время.

В баре немало лицестов. Они подсаживаются к нам, задают первые несмелые вопросы. Те, кто по-

младше, просто смотрят на нас с нескрываемым любопытством, не решаясь вступить в разговор.

— Что у вас делает молодежь в свободное время?

— А вы любите поп-музыку?

— В вашей стране есть хиппи?

Теперь вопросы сыпались со всех сторон. Особый интерес у этих лицестов вызывают машины. Может быть, они сейчас как раз в том возрасте, когда многие мальчишки мечтают стать гошниками.

— Какая скорость разрешена у вас на дорогах?

— А много ли у вас машин?

— С какого возраста выдаются водительские права в вашей стране?

И еще один вопрос, который сейчас интересует всю Францию:

— У вас тоже поднимаются цены на бензин?

На урок нас пригласила Николь, молодая преподавательница русского языка. Интересно посмотреть, как проходит урок во французском лицее. Насколько это отличается от нашей средней школы?

По пути в класс вижу двух хороших лицестов, расклеивающих плакаты на стене: «Долой гнусную реформу Фонтане! Я уже слышал о реакционном законопроекте, предложенном Фонтане, тогдашним министром образования. Реформа затронула бы поступление молодежи в высшие учебные заведения. Планам Фонтане не суждено было осуществиться: вскоре умер Жорж Помпиду, начались новые президентские выборы, сменился кабинет министров... Одна из лицестов делает мне знак — просит подсказать ее, чтобы она смогла повисе приклеить свой плакат. Конечно, я помог бы ей с удовольствием, но вокруг меня очень много народу, а мы иностранцы, и не нам вмешиваться, так сказать, во внутриполитические дела Франции. Приходится только виновато развести руками, вздохнуть и идти вслед за Николь.

Перед зданием лицея специальный гараж для велосипедов и «мобилет» — небольших мотоциклов и мопедов. Никто из лицестов не ходит в лицей пешком. Подобный гараж я видел в комиссариате полиции в Клермоне. «Фляки» — так французы называют полицейских — тоже не любят ходить пешком. Впрочем, кто любит? Разве только пилармины.

Я уже посвящен в некоторые интимные подробности жизни лицея. Мне рассказали, что старая чопорная директриса женского лицея, который находится напротив, стремится помешать «контактам» своих воспитанниц с учениками лицея «Блез Паскаль», составляет расписание так, чтобы занятия в ее заведении и лицее заканчивались в разное время. Впрочем, говорят, своего она все равно не добилась — девушки и парни ждут друг друга у лицея после занятий. Видимо, скоро их незгодам придет ковен: мужские и женские лицеи во Франции постепенно объединяются в смешанные. Да и можно ли помешать молодежи влюбляться!

Мы в классе русского языка. Здесь хозяйка Николь. Помимо языка, она преподает русскую культуру. После уроков ученики остаются со своей молодой преподавательницей: лежат на пластынах фигурки русских воинов и перерисовывают древние иконы. Кстати, очень талантливо перерисовывают. Над классной доской Георгий Победоносец поражает копейку змия.

— Им это очень нравится,— говорит Николь.— Вот это сделал Андре.— Она с гордостью показывает на Георгия Победоносца, а кудрявый паренек в первом ряду смущенно улыбается: это его творение.

На стене большая карта Советского Союза.

— Пьер, покажи нам, где протекает Волга, — просят учительница.

Наверно, он не очень большой энтузиаст учебной, этот невысокий смуглый лилипут. Не повезло ему, бедолаге, что его вызвали к карте, да еще в нашем присутствии. Пьер растерянно водит указкой и не может найти ни Волги, ни Урала. Но какую радость, сам того не подозревая, доставляет мне этот несчастный: я вдруг узнаю в нем себя таким, каким был несколько лет назад. Я вспоминаю свою школу. Помню, как на уроке французской географии точно, как сейчас вот этот парень, пытался отыскать на карте Ауару и Рону, Альпы и Центральный горный массив. Я наугад водил по карте указкой, а разъяренный преподаватель смотрел на меня с презрением. На урок к нам были приглашены французские студенты. Помню, они смотрели на меня с сочувствием. Может быть, я тоже напоминал им что-нибудь тогда.

Ребята пытались подсказать мне: «Выше берн! Правей! Левей!» А я, горячая со стыда и в душе проклятая преподаватель, беспомощно метался у карты.

Нет, Пьер так и не находит нашей великой реки. Николь сердится. Теперь она начинает пытать его городом Сьеррловском. Лицо Пьера баргуевет. Не хуже его, Николь, отпустил! Но Николь любит русский язык и русскую культуру, она неумолима. Наконец незадачливый Пьер получает свою двойку и, облебенно вздохнув, возвращается на место.

Аа, он напоминает мне мою школу — этот парень с указкой в руке, растерянно стоящий у карты. Сейчас, я думаю, во Франции я получу несколько наглядных уроков географии. До этого «Сена», «Ауара», «Альпы», «Париж» звучала для меня бесплотной. Я слышал эти красивые слова и словно не знал, что же они значат, слышал их, как музыку. Теперь эти слова уже не пустой звук, они сразу рождают определенный образ.

Я не шел, меня подхватывало толпой и несло вперед. Бой барабанов, который я неожиданно услышал, показался мне не праздничным, а скорее угрожающим. Это была не мелкая барабанная дробь и не музыка, а резкие, отрывочные звуки. Толпа вырвалась из улицы, но набережная Сены оказалась переполненной. Людской поток не растекался. Люди становились все больше, образовалась давка. Наконец я пробился к изгороди. У берега Сены стоял народ, одетые в костюмы, которые сперва показались мне театральной буффонией, в самом деле, это что за желтые кожаные фартуки палачей, топоры на длинных рукоятках? Погоны и высокие форменные фуражки выдают их принадлежность к армии. Загорелые лица, бритые головы, рубахи защитного цвета с засученными рукавами, сильные, загорелые руки крепко держат топоры. Они маршируют на месте, толпа тяжелейшими коваными ботинками на массивной подошве. Маршируют странно: неторопливо поднимая ноги, не спеша и как-то нарочито неуклюже, вразвалку. Один из них бьет в большой барабан с тем страшным, угрожающим звуком, от которого по чужему то становится не по себе. Кажется, они не обращают никакого внимания на толпу, собравшуюся вокруг них. Взгляд одного из них останавливается на мне. Я вздрагиваю: хищный, холодный взгляд убийцы. Я слышу шепот в толпе. Передо мной один парень толкнул другого локтем:

— Смотри, солдаты Иностранного легиона...

Иностранцы наемники! Другой они двинулись и пошли все так же неторопливо, вразвалку. Гринул оркестр. Но и мелодия была резкой и зловещей, как тот барабанный бой. Фартуки палачей и топоры — атрибуты их парадной формы. Я помню, как впереди выступал пожилой полковник с загорелым лицом,

покрытым шрамами. Ветераны Иностранного легиона. Они годами воевали в пустынях и джунглях, всюду, куда их посылали. Я уже знал, что такое Иностраный легион, но увидел его впервые. Сами они, их манеры, их неуклюжая походка — все это кажется мне интересным и необычным. Я стою и смотрю на проходящие войска с каким-то повышенным интересом, с таким чувством, будто я нахожусь в театре на захватывающем дух спектакле, на необычном представлении.

Национальный праздник 14 июля. Мне повезло, что я смог все это увидеть, что я уезжаю не сегодня, а завтра. В тот же день вечером мы идем, взявшись за руки, по набережной Сены. Вот мы проходим мимо Ауара, сворачиваем к улице Риволи. С нами французы: мы с ними возвращаемся с народного гуляния в Тюильри. В небе разноцветные фейерверки, под ногами взрываются хлопушки-петарды, кругом смех, веселые крики. С нами сталкивается такая же, как мы, компания молодых людей, идущих нам навстречу. Не развешивая рук, мы пытаемся пройти каждый в свою сторону. Образуется страшная путаница. Всем весело. На улице Риволи гигантская пробка машин. Все они олушительно гудят, каждая по-своему: у некоторых музыкальные классиконы, на других машинах воющие сирены. Шоферы словно соревнуются: кто кого перегудит, и у каждого своя мелодия. Стоит жаркий летний вечер. Из маленькой машинки с откинутым верхом выезжает длинноволосые ребята в джинсах. Они со смехом садятся на крыши соседних машин, большого черного «ситроена» и не менее уважаемого «опель». Почтенные владельцы негодуют. Ребята веселятся от души.

И вдруг меня обжигает мысль, что в общепитин стоят уже сложенные к отъезду чемоданы. Завтра в девять утра нам подадут автобус, мы погрузимся и двинемся в аэропорт Орли. Как всегда, ожидание. Около часу придется томиться в общем зале. А потом мы достанем билеты и паспорта, начнется таможенный досмотр. Сдержанный чиновник с непроницаемым лицом заставит меня показать ему ручную кладь, потом зачем-то шекнуть затвором моего фотоаппарата, наверно, опасаясь, что в нем-то и запрятано небольшое взрывное устройство. Потом три часа лететь, еще три часа ожидания и безделья, и вот наконец московский аэропорт. Хочется взять свой портфель и просто, минуя очередь за чемоданами, всякие церемонии и досмотры выбежать к родителям и друзьям, которые, конечно, уже здесь. Я чувствую, что они уже здесь. Но нет, так уж получается, что у человека много разных порой неприятных ему, но тем не менее необходимых дел. Они необходимы обществу, а отдельному человеку кажутся просто ненужными формальностями. Заполняя таможенную декларацию, я уже вижу через открытую дверь маму. Она тоже, кажется, заметала меня, но не сразу узнала: я здорово изменился за эти полгода. Увидела, заметалась, заматахала руками. И вот уже все формальности позади. Я выбегаю к людям, по которым так соскучился. Наконец-то! Меня охватывает такая радость, что я на время забываю и о своих впечатлениях, и о том, что было со мною в эти полгода.

Москва. 18.2.74.

Дорогой мой Никита!

Наконец-то получила от тебя письмо. И не дождалась, пока у тебя будет постоянный адрес, решила написать тебе на университет. Уверена, что письмо дойдет.

Сразу же ответь мне на следующие вопросы: здоров ли ты? Какая у вас погода? Как ты одеваешься? Ходишь без пальто? В чем?

Какие именно предметы вы изучаете? Какие лекции посещаешь дополнительно? Очень советую тебе проследить курс лекций по искусству и живописи. Не упускай такую возможность, если она есть. Фотографируешь ли ты? Ходишь ли в кино? Какие фильмы видел? Успели ли вы в Париже познакомиться с Луар? Обо всем напиши подробно. Если можно, то сфотографируй и пришли мне карточку, мне очень хочется.

Бабушка Тамара очень тревожится за тебя. Не поленись, напиши ей отдельно. И бабушке Оле тоже. Обе будут счастливы.

Как вы объясняетесь по-французски? Свободно? Говорите на языке как можно больше и даже между собой.

Жду твоего письма с нетерпением. Если в марте побываешь в Париже, то напиши, что вы там повидали.

Судя по твоим описаниям, Клермон — прелестный город. Говорят, там интересный музей. Больше спасибо за открытки.

До свидания. Будь здоров, будь умником.

Крепко целую.

Мама.

Клермон-Ферран. Филологический факультет университета. Конец января. На улице дождь и сыро. Весь холл факультета уставлен яркими разноцветными зонтиками. По расписанию занятия должны начаться в девять часов утра. Сегодня мой первый учебный день во Франции. Еще до приезда сюда у меня в голове сложился образ этакого строгого и неприспущенного для студентов французского профессора. Наверно, это солидный пожилой человек ученого вида. Должно быть, у него надменное, озлобленное лицо. Не знаю, почему я представлял его себе таким, возможно, потому что в институте нам говорили: во Франции отношения между студентами и преподавателями совсем не такие, как у нас, — более сухие и официальные. Я слышал, что французский преподаватель якобы перен расписание, после урока его, мол, калачом не заманишь в аудиторию, они отработали свое и не задержатся ни на минуту, чтобы ответить на вопросы студентов.

Вот уже и ровно девять. Впрочем, никакого звонка не раздаётся, ничего не происходит. В коридоре по-прежнему толпятся студенты, длинноволосые оживленные парни и девушки. Громко разговаривают, смеются. Жаль, я еще не успел с ними познакомиться; хотелось бы поговорить и пошутить вместе с ними.

Тут же неподалеку автоматы, где за один франк можно купить бутылку кока-колы, бумажный стаканчик кофе или сэндвич. Я вижу, что студенты не слишком церемонятся с посудой, все бросают себе под ноги. Пол усыпан раздавленными стаканчиками. Рядом со мной стоит бородастый дарен в голубых расклешенных джинсах и в потропанной походной куртке защитного цвета. Докурив сигарету, он спокойно бросает окурок на пол, неторопливо растирает его подошвой ботинка. Думаю, не спросить ли его, где же преподаватель? Может, напрасно ждем?

— Вы вместе с нами будете заниматься? — вдруг поворачивается ко мне бородач. — Из какой страны?

Конечно, по моему виду, по одежде и, наверно, по манере держаться заметно, что я иностранец. Прав-

да, через две-три недели это уже не будет бросаться в глаза, а через месяц-полтора и вовсе станет незаметным. Но пока это видно каждому.

Бородач, узнав, что я из России, удивляется.

— В самом деле? Из какого города?

— Из Москвы.

— О, из самой Москвы! Это так далеко!

Зовет приятеля:

— Жан, смотри, из Советского Союза, из Москвы.

Жан удивляется не меньше своего приятеля:

— А как вы приехали? Неужели сами? Частным образом? — спрашивает он недоверчиво.

Я объясняю, что приехал в порядке культурного обмена между странами; несколько французских поехали в это же время учиться русскому языку в Москву. Все встает на свои места.

— Пора бы уже и начинать! — спокойно говорит бородач.

Смотрю на часы: уже половина десятого. Странно, все это не очень-то совпадает с тем, что мне рассказывали в Москве о беднотности французских профессоров. К тому же, судя по всему, такие задержки, как сегодня, довольно обычны. Никто из моих новых знакомых ничуть не удивлен.

В конце коридора несколько студентов, разложив прямо на полу большие листы бумаги, пишут плакаты. Потом я узнаю, что эти парни — сравнительно небольшая группа — вообще ничем больше не занимаются, почти не ходят на занятия. Это гошты, левые. С утра они пишут плакаты, потом вывешивают их в холле факультета, перед входом в студенческую столовую, в общежитии. А сами стоят рядом, любоваются делом своих рук. Иногда они вооружаются рупором и призывают всех присоединиться к их «борьбе». Из лозунгов видно, что их интересует абсолютно все, кроме непосредственного дела — занятий на факультете. Сегодня, в мой первый учебный день, я увидел огромные ленты плакатов у входа в университет:

«Армия — школа преступлений!»

«Свободу абортам!»

«Долой полицию!»

«Долой реформу Фонтане!»

«Долой буржуазную систему образования!»

Да, действительно, широк круг их интересов! И еще один плакат:

«Университет-74 — это весело. Интересно, под каким соусом нас здесь съедят?»

Мрачный все-таки у них юмор.

— Наконец-то вот он — мсье Праду, — слышу я.

По лестнице поднимается долговязый молодой человек, на вид лет двадцати восьми. Выходит, это и есть наш новый преподаватель!

Похуже, я и тут ошибся, ожидая увидеть строгого и почтенного старичка профессора. Длинные волосы до плеч, усы и густая борода полностью закрывают нижнюю часть лица. Очки с круглыми стеклами в позолоченной оправе. Прямо-таки русский демократизм второй половины прошлого века. Вид у «разночинца» веселый и беспечный. Мосье Праду знакомится с нами.

— Искренне рад вас видеть.

Сразу предупреждает:

— У нас не обязательно посещать занятия, так что смотрите сами, нужны ли вам мои уроки. Желаете — приходите, не хотите — не утруждайте себя.

Садимся. Сначала Праду некоторое время задумчиво расхаживает по классу, потом неожиданно садится на стол, поставив ноги на стул. После недолгого молчания:

Студенты улыбаются.

— Правильно, Франсуаз, все-то ты знаешь, — несколько разочарованно признает молодой преподаватель. Он встает и раздает всем листки с текстом для перевода. Студенты курят, некоторые пьют кофе и едят сандвичи. Можно сказать, работа закипела. Шутки и смех не прекращаются.

Еще в поезде Жаннет сказала:

Еще в поезде Жаннет сказала:

Во Франции я много общался со своими сверстниками, видел их отношения с родителями. Удивительная вещь! Боюсь, к социальным теориям, которые «робо-

Жаннет — одна из студенток, которые занимаются вместе с нами. Наступили пасхальные каникулы, студенты разъезжаются домой, в другие города. И

Садимся ужинать. Отец Жаннет рад был бы заговорить с дочерью. Я вижу, он чувствует себя явно плохо. Возможно, чтобы выйти из этого нежелательного положения, мать включает телевизор. И вдруг специальный выпуск новостей: Франция в трауре, умер Корж Помпиду, скоро состоятся новые президентские выборы. Каждыйотреагировал по-своему. Мать

— Зачем тебе это надо? Ты же видишь, родителей не переубедишь, оставь их в покое.

Клермон-Ферран. 13.IV.74.

Дорогая мама!

Я здоров, чувствую себя прекрасно. Погода великолепная, очень тепло.

Вот видишь, какой широкий кругозор у твоего единственного любимого сына. Напрасно ты меня се время ругаешь. Спасибо вам, Валентина Ивановна, что вы воспитали такого замечательного сына! Ха-ха!

Вместе с нами занимаются студенты, которые читают русский язык. Мы помогаем им тоньше понять смысл русского текста, а они нам — найти соответствующие аналогии во французском. Впро-

чем, наш преподаватель перевода мсье Стратонич не хуже нас понимает русский текст и все, о чем идет речь: он из русских эмигрантов. Переводом на русский тоже занимаемся.

Словом, я стал гораздо более трудолюбивым. Может быть, потому, что меня никто не попускает, никто не пытается заставить заниматься, как, например, ты это поминутно делаешь дома, в Москве. Впрочем, я по тебе очень-очень соскучился.

Ну вот видишь, письмо мое получилось гораздо длиннее, чем я предполагал.

Вот же ребята пришли, заканчиваю. За меня не волнуйся. Пиши мне как можно чаще. Я переборю лень и тоже постараюсь отвечать каждую неделю.

Никита

Как-то один приятель-француз шутили сказал мне: — Русский — это первое, что встречаешь, приезжая в любую страну.

И рассказав случай, как первый американец, которого он встретил, приехав в Америку, оказался русского происхождения.

Так же неожиданно натолкнулся я на одного русского во Франции. Наша преподавательница пригласила нас к себе домой в небольшую деревню на юге Франции. Это было в окрестностях Монпелье. Оттуда, с берегов Средиземного моря, она два раза в неделю приезжает в Клермон, чтобы дать на факультете несколько уроков. Конечно, это не слишком удобно — ездить на уроки за триста километров, но ничто не поделаша: в Монпелье для нее не нашлось вакантного места.

Едем поездом до Аласа. Там нас должны встретить. Деревушка называется Сент-Илер-де-Бовуар. Семья Оливье раньше жила в городе до тех пор, пока они не построили этот дом. Дом еще не совсем отделан, но выглядит внушительно: огромное здание, построенное по проекту мужа нашей преподавательницы.

Жан Оливье — художник. Сейчас он преподает рисование в домом из городских лицеев. Жан по праву гордится домом и подробно показывает все комнаты и переходы. Из кухни навстречу нам выходит седой старик, отец мадам Оливье. Мы тотчас же приветствуем его:

— Bonjour, мсье!

— Добрый день, друзья, — вдруг отвечает старик по-русски и без акцента.

Я ошелобился: здесь, в заброшенной деревушке, встретить человека, знающего русский язык! Видя наше удивление, старик улыбнулся и пояснил:

— Я родился и вырос в России.

И перед нами целая легенда, о которой можно было бы написать отдельную повесть. Его предок, солдат наполеоновской армии, попал в плен в Отечественную войну 1812 года. После войны он навсегда остался в России. С тех пор сменилось несколько поколений. Его потомки обрусели, своим родным языком считали русский, своей родиной — Россию. Отец нашего старика был сослан в Сибирь за участие в каком-то политическом кружке. Там у него и родился сын. Мальчик подрост, поступил в военное училище в Петербурге. Шах первая мировая война. В 1916 году, незадолго до революции, он был послан в Париж в составе небольшой группы кадетов. Не знаю, зачем кадетам понадобилось в шестнадцатом году в Париж, но в судьбе нашего нового знакомого эта поездка сыграла решающую и роковую роль. Он никогда больше не вернулся в Россию, где остались его близкие и друзья. У него была там большая и дружная семья. С тех пор он никого из них не ви-

дел: началась революция, потом гражданская война, и он оказался отрезанным от своей семьи.

Прошло несколько лет. Он освоился в этой незнакомой и чужой для него стране, завел собственную семью. Но не стал французом, а так навсегда и остался русским. Хотя, казалось бы, приехал во Францию мальчиком. Все это время он думал о России, далекой и потерянной для него. Когда я услышал, как он говорит по-французски, меня поразило его плохое произношение.

— Я никогда не хотел терять своего русского акцента, — сказал мне старик, и мне показалось, что в этих словах сквозила гордость. Это был своеобразный вызов судьбе, так жестоко поступившей с ним. А может быть, акцент просто напоминал ему о России.

Время студенческих каникул! Я вообще люблю путешествовать. Перед дорогой всегда становится весело, особенно если путь предстоит дальний. Даже в тех случаях, когда отправляешься куда-нибудь неохотно, когда тебя вынуждают обстоятельства, в самой дороге, по-моему, есть что-то утешительное. Сейчас же одна мысль о том, что мы сядем по машинам и пустимся в путь, вдоль Луары, а мимо будут проноситься незнакомые города, поля, леса и вдалеке одинокие, покинутые, оставшиеся без прежних хозяев, но тем не менее величественные древние замки, — сама эта мысль наполняла меня радостью.

В Турене я узнал, что французы называют эту провинцию страной замков. Действительно, диву даешься — чуть ли не каждые пять-шесть километров замок: утонченные, изящные дворцы Возрождения и классицизма, мощные средневековые крепости с подвесными мостами... Я никогда не забуду этих дворцов, отражающихся в реке, огромных, пустых, холодных залов с каминными и голландскими gobelens, цветочный узор парков. Я слушал бесконечные рассказы гидов о жизни французского двора, о кровавых драмах, которые происходили когда-то здесь, в этих залах, смотрел на портреты королей и придворных, и мне казалось, что вот сейчас откроется дверь и, обмахиваясь веерами, войдут придворные дамы или, бряцая оружием, появятся грозная стража.

Все здесь необычно. Я был поражен, когда в конце экскурсии по замку гид объявил: «Дамы и господа, хозяин замка господин маркиз де Вибрз приглашает желающих принять участие в совой охоте в лесу господина маркиза». Как? Этот замок до сих пор принадлежит одному человеку? Оказывается, у этого маркиза, прямого потомка и наследника тех, кто когда-то построил замок, кроме самого этого старинного и роскошного замка, есть еще лес, усадьба, своя конюшня и парня. Маркиз — заядлый охотник. В лесу у него масса всякой живности. Он живет на широкую ногу в своем старинном замке, окруженный gobelensами и канделябрами.

Но и маркизы, оказывается, нынче стали не те! У них появились какие-то мелкобуржуазные черты, недостойные их высоких аристократических титулов: вместо того, чтобы охотиться с роскошной свитой, со своими приближенными, маркиз рад первому встречному, который примет участие в его забаве. Да еще приглашает людей не бескорыстно, а за умеренную плату! Цена очень небольшая, тоже недостойная маркиза. В самом деле, что такое какие-то пятьдесят франков? Ведь за эту скромную плату можно не только попытаться счастья в охоте, но и посмотреть на живого маркиза на коне и в охотничьем костюме. Не охота, а еще одно театральное представление! Да еще в внешней форме старинной совой охоты пол-

ністю сохрaнена: егеря в охотничьих шортуках, псы лаюут в предвкушении добычи, лакеи в ливреях сопровождают хозяина. Я видел все это на цветных фотографиях, которые продаются тут же, в замке. Кстати, увидеть все это своими глазами — идея действительно соблазнительная, и я бы, может быть, сам поохотился с маркизом, хоть и не умею ездить верхом. Заманчивое желание. Приехать домой и сказать друзьям между делом: «Охотился, помню, как-то во Франции с одним маркизом...» Но, к сожалению, было лето, а маркиз почему-то предпочитает охотиться в другие времена года.

...В детстве, качаясь на качелях, я любил закрывать глаза. Тебя слегка подбрасывает, а потом ты будто пропадаешь куда-то в пустоту. Кажется, что тебя больше нет. Вернее, тела твоего нет, осталась одна голова, мозг, который продолжает работать. Такое же ощущение появляется у меня сейчас в самолете, хотя, согласен, сравнение довольно странное. Подо мной ночь. Я сижу с закрытыми глазами, погруженный в самосозерцание, как, вероятно, сказал бы философ. Пытаюсь понять и определить свои ощущения. Меня охватило странное чувство восторженного удивления. Через два-три часа я окажусь в Париже, о котором я так много слышал и читал, что он стал для меня каким-то нереальным, сказочным городом. В самом деле, разве не сказочные имена — Нотр-Дам, Сакре-Кер, Тур Эйфель? Я давно готовился к этой поездке, а все получилось так неожиданно, как будто меня, ни о чем не предупредив, бросили в отлетающий самолет. Это смешанное чувство восторга и удивления еще более усиливается, когда в Орли мы садимся в автобус и он помчит нас по Парижу, а вокруг замелькают неизвестные мне вечерние пейзажи, домики с мансардами, светящиеся надписи реклам. Они подтверждают мне, что я действительно уже не дома, а в какой-то другой, незнакомой мне стране.

В тот вечер я не видел Парижа. Смертельно уставший, я рухнул в постель и мгновенно заснул. Проснувшись утром, не сразу понял, где нахожусь. Небольшая уютная комната, скромная обстановка — стол, два стула, шкаф. Тусклый свет пробивается сквозь ставни, которые скрипят от меня внешний мир. Где я? Ах да, вспомнил! Неужели правда! Быстрым движением открываю окно и ставни. Париж! Передо мной Латинский квартал. Я узнал его. Почему-то именно таким я его себе и представлял. Да и на картинах я его видел таким. Мне и сейчас показалось, что я стою перед холстом, на котором — живописные улочки Парижа, разноцветные вывески магазинов, пестрая людская масса... Но вот я с удивлением обнаруживаю, что если эти и картина, то уж по крайней мере волшебная: на холсте все движется, все живет. Схватив со стола карту, выбегаю на улицу. Выбежал и так и остановился от удивления: первый парижанин, которого я увидел, странный субъект в черной, надвинутой на глаза шляпе и закутанный в длинный, до земли, ярко-красный плащ. Ну и ну! До чего же все необычно! Смотрю на название улицы. Де Карн. Ину это место на карте и вдруг вижу, что где-то здесь, рядом должен быть Пантеон. Тогда в моем представлении такие слова, как Пантеон, Эйфелева башня, Собор Парижской Богоматери, символизировали не только Париж, но и вообще всю Францию. Почему «тогда»? Потому я понял, что ошибался.

Поднимаюсь вверх по улице. Впереди высорисывается темное здание с круглым куполом. Здание тяжело нависает надо всей улицей, надо мной. Смотрю

на карту: да ведь это же и есть Пантеон! Тот самый, знаменитый! Признаться, я ожидал увидеть нечто большее и даже испытываю легкое разочарование. Спускаюсь обратно по улице и попадаю на бульвар Сен-Жермен. Я ошеломлен каждым названием. Со всем этим я уже знаком... но только по книгам.

Рядом какой-то неясный шум. Несколько молодых парней, бритые наголо — только длинный клок волос на макушке, — в необычных странных одеяниях (помоему, на них были просто грязные белые простыни), босонogie, бьют в большой барабан, припавшая и напевая что-то непонятное. Вокруг толпа любопытных. Один из парней собирает с публики деньги. Он подходит и ко мне. Это возвращает меня к действительности. Денег у меня еще нет, я поворачиваюсь и ухожу. Иду дальше, спускаюсь к Сене. На террасе кафе длинноволосый юноша с вдохновенным лицом играет на скрипке. Нежная и одновременно грустная мелодия. Вот я уже на набережной Сен-Мишель. Прямо передо мной Сена, остров Сите и Нотр-Дам. Когда я до этого думал о Париже, то прежде всего пытался представить себе Нотр-Дам. Наверно, для многих иностранцев это своеобразный символ города. В любом парижском киоске купишь брелки, значки, картинки с изображением Собора Парижской Богоматери. Созданный мной образ собора основывался, наверно, на тех его описаниях, которые я встречал в книгах: «восторженный высь...», «легкий каменный узор...» и другие штампы, которые обычно используются, когда речь идет о памятниках архитектуры. И вдруг... вот он передо мной, этот собор. Что говорит, красивый, величественный, но, позволюте, никуда он не летит, и высь не стремится, и не такой уж он легкий. Так что же, все, что я слышал и читал, лишь выдумка искусствоведов?..

Прошло несколько месяцев, и вот я снова в Париже. Туманно, приближается вечер. Я медленно еду по набережной Сены, а мимо меня проплывают очертания домов, остров Сите... Я смотрю на Нотр-Дам, и мне кажется, что я вижу собор впервые. Сейчас он точно такой, каким я ожидал увидеть его сразу после приезда во Францию. В сивневом тумане собор, кажется, соткан из воздуха. Легкий и величавый, он летит вслед за мной.

Я покидаю Париж. Увижу ли я еще эту страну? И этих людей, с которыми едва успел познакомиться? Подобное ощущение бывает, когда едешь в поезд и смотришь в окно, а там мелькают полустанки, деревни, города и маленькие фигурки людей... Особенно когда едешь далеко, в какой-нибудь другой город, а мимо проносятся незнакомые новые места. Вот мелькнула будка стрелочника, вот идут какие-то люди, разговаривают, смеются: у них свои радости, свои проблемы и неудачи, споры и интересы. Проходит несколько секунд, и вот поезд уже промчался дальше. Для тебя нет больше этих людей, они безвозвратно исчезли из твоей жизни. Возможно, ты их никогда не увидишь. А ведь не успел их даже разглядеть, узнать...

«...С января по июль 1974 года группа студентов языковых вузов находилась во Франции в соответствии с франко-советским межправительственным соглашением о культурном обмене между двумя странами. Студентам была предоставлена возможность ознакомиться со страной. В течение вышеуказанного срока они посещали занятия по ряду предметов...»

Несколько строк из официального отчета...

В НОМЕРЕ

ПРОЗА

+ Анатолий РЫБАКОВ. Выстрел. Повесть . . .

ПУБЛИЦИСТИКА

+ Нинита ТОПУРИДЗЕ. Несколько строк 8

КРИТИКА

+ Эдуардас МЕЖЕЛАЙТИС. Письма из Друснинской (Окно в мир прекрасного) .